

Вещь

2(8)/2013

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Проза

Роман Мамонтов

Мария Первушина

Стихи

Александр Петрушкин

Воспоминания

Анна Бердичевская

об Ирине Христоробовой

Архив

К 110-летию Аркадия Гайдара

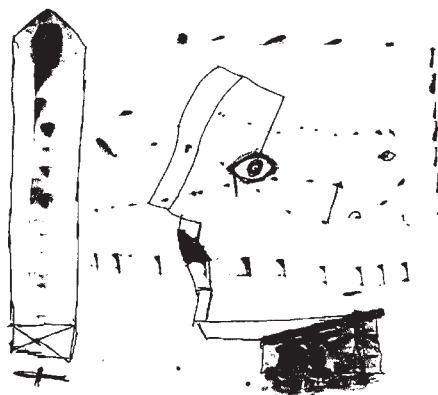


Вещь

2(8)/2013

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

ПЕРМЬ 2013

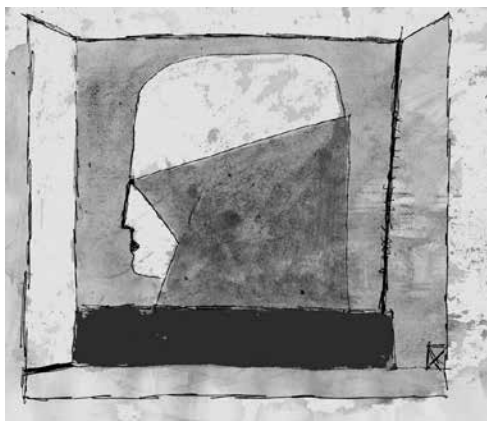


Содержание

3.....	Владимир Кочнев <i>Центр занятости; Уникальные товары (два рассказа)</i>
9.....	Александр Петрушкин <i>Где птичий бог прибился к лесорубам (стихи)</i>
14.....	Мария Первушина <i>Мадлен (рассказ)</i>
28.....	Руслан Комадей <i>Рыбный парад (стихи)</i>
31.....	Роман Мамонтов <i>Карталы (повесть)</i>
44.....	Елена Медведева <i>Сокращается жизнь на слова (стихи)</i>
47.....	Кирилл Азерный <i>Памятники побеждённым (рассказ)</i>
58.....	Кассиус Нокдаун <i>Вендетта супермаркету (архив «ОДЕКАЛа»)</i>
66.....	Анна Бердичевская <i>Ирина Христолюбова и ее «Дворянское гнездо» (воспоминания)</i>
79.....	Андрей Кудрин <i>Метаморфозы исторической реальности в повести Аркадия Гайдара «Жизнь ни во что» (историко-литературное исследование)</i>
95.....	Ольга Ловцова <i>Подросток как проблема в пьесе Александра Югова «Контакт» (критика)</i>
99.....	Ольга Ловцова и Марта Шарлай <i>За и против книги Елены Сунцовой «Коренные леса» (критика)</i>
110.....	Кристина Суворова, Екатерина Симонова, Екатерина Перченкова, Надежда Иванова <i>Рецензии</i>
125.....	Авторы номера

Владимир Кочнев

Центр занятости



Я встретил ее на улице. Она стояла кудрявая и голубоглазая, худая, высокая — на каблуках почти выше меня. Белые локоны, правильное удивленное лицо. Красавица в стиле тридцатых.

Она улыбалась.

— Не уехала во Францию? — спросил я.

— Нет, — сказала она, — еще нет...

«И не уедешь уже», — подумалось мне.

Мой лучший друг, Алик, парень, любящий интеллектуальную музыку и клей, ходящий в старой дедовской коричневой куртке с мохнатым капюшоном, был когда-то влюблен в нее, и кажется, любил ее до сих пор. И хотя в его мозгах, истрепанных наркотой, с тех пор промчалось уже миллионы галлюциногенных зим, но что поделать — его мозги были куда крепче моих.

Я же про это все почти не помнил.

— Ты все еще пишешь стихи? — спросил я.

— Да, пишу.

— Приходи ко мне, я веду сейчас поэтическую студию.

— Алик мне говорил, — кивнула она.

— Разве вы видите? — удивился я.

— Не то чтобы видимся... так, случайно.

Конечно, сейчас, когда он осел на работе грузчиком и немного уgomонился, а она уже не едет во Францию, — между ними, конечно, больше общего, чем когда она хотела выйти замуж за араба-француза, а он в одиночку оттарчивался на квартирах знакомых неформалов.

Она переступила с ноги на ногу.

— Чем занимаешься? — спросил я.

— Ищу работу.

— Какую?

— Мне хоть какую! — сказала она, взмахнув вниз руками.

Понятно, подумал я, как мы все, блин, похожи. Я ведь тоже искал работу. Это единственное, чем я занимался последние годы. Некоторые обречены искать работу всю жизнь.

Может быть, он тоже искал работу сейчас, или же работал и искал работу одновременно. Может, засыпая, он забывал, что уже работает и свыкся с мыслью «мне надо срочно найти работу!» А потом, вскакивая и стучаясь головой о стенку, говорил: «твою мать, мне надо срочно спешить, иначе меня выпнут!».

Он вспоминал о ней долго после того как они расстались. Все время, пока мы общались с ним, он вспоминал о ней, и говорил, что хотел бы жениться, иметь от нее детей.

Даже когда у него появилась постоянная девушка, о ней, не уехавшей в Францию, он

рассказывал, как о том, что должно было быть, но не стало.

— Может, обменяемся телефонами? — спросил я.

Мы обменялись, и она убежала.

Впрочем, подумал я тут же, она, скорее всего, не придет.

Постояв немного в одиночестве, я догадался, что она ходила в центр занятости не-подалеку, куда и я заходил где-то около полутора лет назад. В сраный, уродливый центр, сложенный из кубиков плиточного пола и пластмассовых перегородок, наспех покрашенных известью, где шизофреничность, безалаберность и непригодность стареющих детей впиталась буквально в каждый метр.

Он, вспомнил я, тоже оставался невероятно застенчивым.

И возможно, в каком-то идеальном мире они составили бы идеальную пару.

В том мире, где вести поэтические студии имеет какой-то смысл.

Уникальные товары

Я пришел в назначенный час. Было холодно, и меня в старой шубе продувало ледяным ветром. Ирины еще не было.

Магазинчик я нашел легко, он был маленький и уютный. За синей витриной росли огромные кактусы и какие-то лопухи. И была еще надпись над розовой дверью «Уникальные товары».

В другой раз вместе с друзьями мы бы хохотали, читая одни названия товаров. Магазин торговал всем — от специальных щипцов для засохших соплей в носу до особых мухобоек с суперсмертоносным покрытием.

Товары, однако, судя по всему, пользовались спросом. Магазинчик не разорялся. Единственная проблема — ему нужна была реклама. Поэтому и появлялись мы — рас-

пространители. Чтобы ежедневно раскидывать несколько коробок брошюр по почтовым ящикам в подъездах.

Я не стал заходить внутрь, у меня было плохое настроение. Я предпочел мерзнуть снаружи — лишь бы ни с кем не объясняться и не знакомиться. Я надеялся, проблему общения возьмет на себя Ирина — и всем меня представит. Без лишних слов.

Ирина появилась с опозданием. Она поздоровалась с водилой стоящей под окном «Лады» и юркнула в салон. Я сел следом. Водила был рябым прыщавым недотепой из тех, что ничего не умеют, кроме как крутить баранку. На меня он даже не взглянул. Он продолжал пялиться то в зеркало заднего вида, то на улицу, где под прозрачным ледком застыл кусок двора и ржавый костяк остановки. Спрашивал что-то у Ирины. При-

шла еще одна девушка с видом озабоченной обезьяны, и мы тронулись.

— Эй, — сказал я, наконец, решив, что все происходит немного неправильно, — а поработать нельзя у вас?

— Гы, — хмыкнула девушка. — Ты что, всегда садишься к незнакомым людям в машины?

— Ну, раз сел, то уж поработай, — сказал водила. И сразу заткнулся.

Мне это не очень понравилось. Ирина сказала, что тут платят регулярно, раз в неделю, и не кидают. Но судя по бурканью водилы, текучка тут тоже была огромная. И я подумал про Ирину плохо. Это ее счастливая рожа разрекламировала нам эту работу. Выходило, что зарабатывает она в день неплохо, а работает всего три-четыре часа. Сейчас посмотрим.

Мы проехали несколько улиц, и мне в руки ткнули план района с помеченными крестиками домами и торжественно всучили небольшую повязку ключей, которые должны были волшебным образом открывать все подъезды.

— Если не подойдет, — тут же сказал водила, — набирай домофон, говори, что почтальон — должны открыть. И еще: если увижу брошюры, разбросанные по подъезду, а не в ящиках — сразу ползарплаты срежу.

Он нравился мне все меньше. Я не люблю тупых начальников. Если бы я надумал мухлевать, я бы просто выкинул брошюры в мусорку.

Когда я вылез из машины, Ирина уже набрала две полных сумки и, бодро ковыляя на каблучках, побежала к ближайшему дому. Я подивился ее щенячьей радости. Чем она двери-то будет открывать? Зубами, что ли?

Первый мой дом оказался длинным и высоким. Волшебный ключ к нему не подошел.

Ругаясь, с третьего раза, я открыл дверь, нажав в домофон, что я врач «Скорой помощи». Там было холодно и темно. Ящики стояли как бойницы. Опасаясь мести обманутых жильцов, я положил пакеты на плиточный пол и вяло выложил несколько

брошюр. Щели оказались чересчур узкими. Брошюры не пролезали.

Я вернулся к водиле. Синяя «Лада» стояла все там же. Я постучался в стекло.

— Чего? — спросил он не сразу, открыв дверь.

Я увидел, что он спал, откинув кресло назад, и мое появление его разбудило.

— Там не подходят...

— Что не подходят?

— Щели не подходят.

— Какие щели?

— У ящиков. Брошюры в них не пролазят. Слишком узкие.

— Угу, — сказал водила.

Он поднялся с кресла, и, собрав морщины на лбу, задумался. Видно было, что это дается ему с трудом.

— Ну, разложи все сверху, — наконец догадался он.

И я пошел раскладывать.

К концу дня я сильно вымотался. Большой дом сбил меня с толку. А потом пошли старые сталинские ампире по семь-девять квартир в подъезде. Я стоял за дверью дольше, чем возился с ящиками... Вскоре меня зашатало. Я проклинал Ирину и недавних ублюдков, стрявших мне голову — иначе бы не попался на такую тупую работу. Я нарвался на отработчиков ночью, около месяца назад, и мои мозги еще не совсем выправились.

К концу дня оказалось, что я хожу слишком медленно.

— Ну и что ты так заработаешь? — спросил водила, смотря на мои отчеты.

Тебе-то что, подумал я.

Ирина выглядела почти не усталой.

В следующий день я учел ошибки и стал двигаться быстрее, почти бегом, не тратя время на рефлексию и сомнения. Я разбрасывал и листовки, не обращая внимания на рывкающих тетенек. Если какой-то подъезд не открывали, я не волновался. Я уже понял, что водила никого не контролирует.

Какую-то минимальную норму я выполнил, но до Ирины мне все равно было далеко. Я ее зауважал.

Ирина затесалась в нашу компанию недавно и как-то случайно — через Солдата.

Я никогда и раньше не понимал, что ее связывает с Солдатом. Он буквально жил на улицах — ел, спал, общался. Чаше, впрочем, спал. Он мог спать, сидя, стоя и даже при ходьбе. Он все время был в пути из пункта вписки А в пункт вписки Б. Если в пункте Б его посылали, он шел в пункт С, засыпая посередине. Главное — движение. У него было красное заспанное лицо. Иногда, очухиваясь и открывая глаза, он начинал рычать, впадая в бешенство. Потом закрывал.

Выспавшийся Солдат был совсем другой личностью. Но таким он бывал редко. Выспавшийся и трезвый, он ходил по магазинам, рассматривал шмотки. Иногда что-то покупал.

Кто-то мне говорил, что в прошлой жизни Солдат был художником, и даже талантливым. Но я этому всему не особо верил. Здоровый и крепкий, еще молодой, но уже асоциальный, он был идеальной заготовкой для бомжа.

Но даже Солдат работал на этой поганой работе лучше меня, хотя у него тоже выходило меньше, чем у Ирины.

— Сколько у тебя? — спрашивала с сочувствием Ирина.

— Ааа, — протягивала она, услышав ответ. — У Леши тоже мало выходило. Парням не открывают двери в подъездах, поэтому много времени теряется...

Меня жалели.

Сумма, однако, к концу недели набиралась не такая уж и маленькая. Немного, конечно, но хватит, чтобы ноги не протянуть.

К концу недели я стал сильно уставать. Голова кружилась, ноги отваливались. Я все же не восстановился после сотрясения.

В работе, однако, были и плюсы. Я ознакомился с содержанием подъездов сталинских ампилов. Они всегда меня влекли. Все они были разными. Где-то росли на подоконниках красивые нежные фиалки. Где-то стояли плетеные кресла-качалки, лежали газеты и книги. Где-то подъезды

были настоящими черными непредсказуемыми лабиринтами. И мне казалось, что я попадаю в далекое прошлое...

...Была пятница. Измотанный и потрепанный, поняв, что не справляюсь с графиком, я выкинул остатки брошюр в мусорку. Потом подбежал к назначенному месту и сел в машину.

— Ну, сколько сегодня? — спросил водителя.

Я протянул ему листы с навранными пометками, и он мрачно в них погрузился.

— Поедем сейчас твои миллионы получать, — сказал он.

Этот тупица еще шутил. Я решил промолчать.

Ирина тихонько сидела сзади.

К месту получения денег еще должен был прибыть Солдат, ему немножко задолжали.

Последнее время он изменился. Завязал с бухлом и пытался устроиться на работу. Я смотрел на них обоих, не веря глазам. Конечно, все меняется, но только не такие как Солдат. Это был Воскресение. Чудо, настоящее чудо, творилось на моих глазах.

Мы скоро приехали. Зашли в магазин. Там была очередь из каких-то молчаливых пенсионеров разного возраста.

— Видишь, — сказала Ирина, — как быстро брошюры действуют, утром разбросаем — в конце дня уже очередь.

Козлы, подумал я, мы их основной двигатель. Могли бы нам и побольше платить.

Такие же козлы сидели в креслах руководителей на последней моей работе. Из-за них я получил по башке. Им лень было нанять лишнего сменщика, когда второй загулял. Я работал неделю по 12-14 часов. А вечером последнего дня пошел немного расслабиться с друзьями. Задержался ночью в баре и вот — удар по башке кастетом. Месяц на больничном и увольнение сразу по выходу...

Мы ждали расчета, но оказалось, что сперва надо подождать, пока все пенсионеры купят, что им там надо. Сперва клиенты — мы потом.

Покорность и безропотность Ирины меня удивляла. Никакого протеста. Тебя наебывают, а ты молчишь. Так же и на предыдущей работе. Никого не удивляло, что человек пашет несколько месяцев по четырнадцать часов. Даже тех, кто сам так пахал. Кроме меня, конечно.

Они даже не предложили нам сесть. Чтобы немного расслабить затекшие ноги, я опустился на корточки.

— Эй, ты лучше тут не сиди! Здесь магазин! — сказал водила.

Я поднялся. Он начал меня стебать.

Я подумал, что, наверно, сейчас его ударю.

Положение спас Солдат. В серой шинели с обмотанным вокруг шеи белоснежным шарфом и красной рожей, он выглядел невероятно оптимистично. В минуты случайного подъема он был цветущ и мог выглядеть элегантно. Даже потрепанная шинель создавала ему романтический нежный ореол. Он как-то незаметно заткнул треп водилы и со всеми нами поздоровался.

Солдат рассказал, что ходил сейчас устраиваться в два места грузчиком. То есть в одном он даже маленько поработал, но быстро свалил — ему там не понравилось. Я вспомнил, что Солдат был натурой тонкой, художественной и на работе ему был важен не простой грубый быт и зарплата, но и атмосфера...

Деньги мне все же выдали. И даже больше, чем я рассчитывал.

Я получал последний, и когда перенес бумажки в карман — отдал им выданные ключи и одолженные мне на время работы варежки, которые на случай обмана рассчитывал оставить себе.

Кассирша посмотрела на меня обиженно.

Попрощавшись, мы хлопнули стеклянной дверью с дрогнувшим медным колокольчиком и оказались на улице.

Ирина и Солдат были оживлены.

— Мы идем в магазин, — сказала она. — Если хочешь, можешь с нами...

Они шли и рассуждали про наркотики. Оказалось, сейчас можно дешево покупать какие-то крутые семена, используя их как

траву. Очень дешевое и мощное средство. Ловкий аптекарь-химик синтезировал его под видом укропа и набил им все овощные семенные киоски мира, заработав на этом миллионы.

Мы пришли в ближайший секонд-хенд. В большом квадратном павильоне тянулись ряды самой разнообразной одежды и, сковавшись в углу у кассы, стояли толстожопые и невысокие продавщицы.

Я подумал о том, что уровень продавщиц всегда соответствует уровню магазина. Чем некрасивее продавщицы — тем хуже и магазин.

Солдат повел себя очень необычно. В своих синих штанах и пальто он вышел на середину зала закрыл глаза и зарычал:

— А джинсы у вас есть дешевые?

Эта блаженная способность орать во всю глотку где попало меня всегда завораживала.

Испуганные женщины переглянулись и вжались в свой угол.

После паузы одна из них поняла, что он в принципе безобидный и осторожно к нему приблизилась.

Будучи в трезвом и более-менее вменяемом состоянии Солдат, как правило, был занят исключительно гардеробом. Он ходил по самым разнообразным магазинам и рассматривал там курточку или джинсы. Он был очень внимателен к подробностям, деталям и ценам, и четко знал, сколько что стоит и сколько стоить должно.

Забыв о нем, я стал рассматривать одежду. Она была говенной, но даже на такую у меня не было денег.

Сынок богатых родителей, я никогда не верил, что останусь без денег, но, похоже, остался. Неважно, добился чего-то я или нет, но в мире не было места для меня. Как и для моих друзей. Они и спивались и старчивались только потому, что мир оказывался чужд им. Подпольные художники, режиссеры и просто лентяи, они не могли найти себе что-то по душе.

Я предчувствовал, чем закончится восхождение Солдата. Что-то подобное с ним уже прежде бывало. Он бросал пить и

работал говномесом. Прибирал помои, грузил ящики. А через два-три месяца срывался. И его снова можно было видеть топчущим улицы, спящим в скверике, подъездах, ночных кафе...

Что-нибудь по душе.

Мне становилось все хуже. Голова кружилась.

Скоро опять мне искать работу.

...Растянутые сарафаны для беременных. Штаны с желтыми ляжками в уродливый зе-

лтый горошек. Зелено-оранжевый костюм тигра для дебилов и клоунов. Казалось, в этот магазин свезли самую уродливую одежду со всего света.

Мне надо было прийти в себя и сделать что-то со своей жизнью, пока не поздно...

— Смотришь женские костюмы? — сказала Ирина, подходя сзади. Я понял, что она шутит.

— А рубашка у вас эта сколько? Сколько? Ааа? — орал Солдат за нашей спиной.

Александр Петрушкин

Где птичий бог прибился к лесорубам



Свет кожу стирает дочиста —
кто ходит на месте пустом?
Его ремесло переносное,
как бабе, вносить меня в дом.

Внесёт и забудет на время
в среде голубиных людей,
накинёт на яблоню темень,
царапая горло ветвей.

Меня поцарапав однажды,
Как будто котейка, дом-шар
воздушной и смертною жаждой
смотрел как (его ли?) душа

выходит из яблока красного
и светится, где за окном
дом в стороны все расширяется,
идя за своим молоком.

Его ремесло непонятное
как бабе нести меня в сад
где пчелы звенят пузырятся
под кожей, желая назад,

где дождь вырастает из яблони
и падает яблоней стать,
где голуби клювом стараются
под кожей меня отыскать.

Откроют листья золотые рты,
зарубки оставляя в каждой щепке
воздушной [бог заточит топоры]
и по воду пойдут — как будто бросил
их этот август бронзовый в себя,
по кругу холодающему ослепнув,
своё изображение деля
на хлеб и воду, прижимаясь к древу
осеннему, зеркальному, как тьма,
где птичий бог прибил к лесорубам
и загорелся [и язык принял] —
как листья, рыбы в нём плывут по кругу
и открывают золотые рты
и немоту себе [как вещи] просят
[листвяные] и срубы и плоты
и август бронзовый в себе
[как в ведрах] носят.

Вот осени пирог, как шар,
печёт Сентябрь. Из живота
его вытаскивает дёрн
зима, с которой он сплетён

через меня, через мои
всё выжигающие тьмы,
через позор и тишину
мою, в холодную страну

он пишет из меня письмо,
печёт жену мою и дочь,
как мягкий снег, мясной пирог
он катит в шаре пред собой.

Вот этой осени пирог —
садись со мною, ешь со мной
мой рай крошечный изнутри,
с зимой забитый в сапоги.

Кати меня земле под дых,
как будто пёс оставил штрих
на этой выжатой тропе
в сосущей птицу высоте.

Скорми меня, Сентябрь, скорми
шарам гудящим изнутри —
подобно ульям и вагонам,
нас покидавшим, как дорога,

с которой осени пирог
в крошечный рай глазее мой.

В середине липового улья
Проживает тёмная пчела,
Ткет она здесь из картошки угли,
Из углов шьёт тело для костра.
Каждым утром пролетает мимо
Липовых, как знание, лошадей.
Шей меня из липового света —
Что тебе за дело — шей и шей.
Шей из липы мне свою рубаху,
слух мой протыкай, чтоб — как немой —
я ходил в себе самом без страха,
шевели мохнатую губой.

ПРОГУЛКА В АВГУСТЕ

1.

Входя в мой дом, как тень остановись —
на роднике, в котором прячет ключ
[звонящий в связке] тусторонний сад,
как август, спрятанный среди калиток туч.

Ты не найдёшь — вот стой теперь, как тень,
как бы вода, обретшая кувшина
[пусть гипсовую] кровь — что тоже кров,
[пусть речь] скрипящую из каждого мужчины.

И длинный пёс берёт мой страх из губ
[начавшегося с тени] листопада,
но [глаз не поднимая] видит он,
как зреет камень в дурочке, и надо

всего лишь — оглядеться и поднять
с земли свою [еще совсем не горсть]

зола, что в птицу развернулась и пропала —
как [между берегов повисших] мост.

Входя в мой дом, припомни, что в меня
обёрнут ключ от голоса и смерти,
что в роднике, в уключине [не смят,
но говорит] меж нами некто третий.

2.

Входи в мой дом — пока ещё ты контур —
как сад посмертный, не обретший плотность,
как ртуть с ладони, склеванной вороной,
переметнувшейся снежком в иную
плоскость.

Входи в мой дом нелепою наградой,
скрипи в калитке, как дрова в сарае,
чтоб контур становился этот ближе,
чтоб знали мы, что плоть [и так] сгорает.

Мой бедный родственник,
двойник воды бинарной,
свою ладонь в сад погрузи, как лики
раздвинь воды колодезные створки,
за мытые твои/мои ошибки.

Входи в мой дом, с вещами разминувшись —
за сквозняком следы не прибирая —
пока ты контур для смертельной жизни
и выглядишь, как я [совсем банально] —

Греми, как Данте в зимней погребушке,
чтоб контур твёрже стал и нас однажды
оставил так, как оставляют сад свой —
уткнувшись шкурой в шкуру,
краем к раю

воды, где [приближаясь к отраженьям]
два контура свою же смерть теряют.

3.

Мы потеряли смерть свою,
которую — то я пою,
то бабочка в ладонях
у сада — что потонет.

За садом тень его стоит,
как дерево и запах лип
[нелепое создание,
которое с названием

своим приобретает смерть].
пока что мы учились петь
почти что соловьями
[и думали что сами]

в ранете жили муравьи
и расширяясь изнутри
в пупе земном,
как норы —

они мастрячили нам дом,
вокзал и сладкий тлиный ком
совали в подъязычье
[как будто дело в личном].

И тень — нас потерявши здесь —
водила свет сквозь тёмный лес,
как бабочка, что тонет
сверкая сквозь ладони.

Где деревянно кровь до октября
стучит — внутри у дерева, как ложка,
с морозом пальцы наизусть скрестя,
и смотрит [как в лицо] с его окошка,

как здесь, наевшись почвы, в высоту
у яблони прорезывая крылья,
вдоль веточек нахохлившись, плоды
сидят так, что — и кровь совсем не видно.

Поют [как человечьи] голоса
у дерева согретого плодами,
и кровь, скрутившись в яблоне, у дна
летит, морозя почву, перед нами.

СРУБ

в срубе ручном узловатой зимы
запотело стекло

кто-то с иной стороны
лижет дно [теплым ртом]

режет от неба язык
он кусок за куском]

то деревянной пилой
то дрожащим ножом

ходит по кругу воронки
пернатый как треск

и [беспросветен как горло]
светящийся лес

Он медлит избавлять от скорби —
накормлена земля, в боках

дрожит и дышит, будто пёс ей
растает в рёбра, в берега

как будто бы растает ива,
точнее тень её растёт,

и тянет рёбра рек, лениво
кадык воде поспешной рвёт.

И линза из незрелой крови,
как из гнезда упав, дрожит

в птенце, врисованном псу в брюхо,
что в водах вспаханных лежит,

где тень, застыв на середине,
перезабыла диалог,

бог возвращает — как молитву
и иву — долг.

НАТАЛЬЯ

Покажется, что снег с землёй делим
на человека и пустое место —
проходишь через тень свою один,
и та парит [как будто бы из теста].

Покажется — что тронуту рукой
уже нашло скрижали нашей смерти —
покая нет — но, если есть покой,
то он всегда в оставленном здесь месте.

Идёшь на холм или спустишься с холма —
всё кажется, пока перевозима
сквозь тьму и ночь — на поезде душа,
на лодке [в старике] как руки длинной.

Покажется, что снег съедает смерть,
как будто тени замечает крошки,
что сокрушимы Бог и человек,
когда уже почти что осторожны,

и что, спускаясь с неба, голоса
нащупывают в горла тьме несносной
зерно проросшее — чужое, как глаза —
переходящее из местности сей в поздно.

Покажется, что снег в земле лежит,
и что земля лежит внутрь человека —
чья тень оторвой сквозь меня летит,
по стороне ребра глухого света,

что выгнута, как лодка, почва здесь,
и снег всегда идёт наполовину,
что в свете есть твоём — моя вина —
и с ней не умираю я — а гибну.

Когда почти освоен диалект —
кыштымский, привокзальный и небесный —
меня уже почти на свете нет —
хотя, возможно, это я на снеге
сную то снегирём, то воробьем,
жую снежок в руке своей трёхпалой,
и пролетаю под пурги метлой,
чтоб слова казались слишком малым.

Поспешным чудом будет весь декабрь,
когда все яблони цветут холодным снегом
и отрывают ноги от земли,
переступая с пяток на носки,
как бы мерцая между этим светом
и тем, другим, горящим за спиной.
И треском [уходящего вдоль сада
дыхания пернатого метлы] закончится
весь мой словарь земной —
и чуда большего мне на земле не надо.

И чуда большего нет в птичьем языке —
лететь сквозь местный и мясной, скрипящий,
горбатый и молчащий, красный снег —
от паровозного гудка в ранет летящий —
и там — вполне освоившись — словарь
всё ковыряет свет, как будто с сосен
снимает кожуру [возможно, бег] —
и чуден день его, год — високосен.

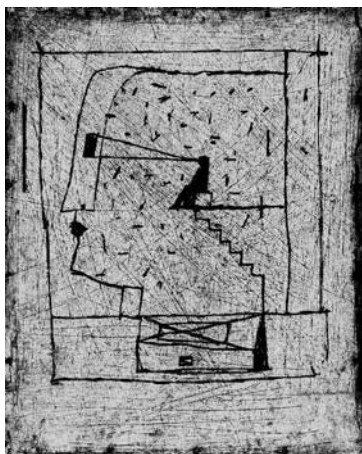
БОГ

Нет ни меня, ни тьмы
и даже света нет —
а только тонкий глаз.
И в щёлочки просвет

Он смотрит на меня,
а я смотрю в Него,
и кроме наших взглядов
здесь нету никого.

Мария Первушина

Мадлен



Кровь капала на пол, и получались жирные капли. Какое-то время она еще думала, что делать — продолжать наблюдать или уже обрабатывать. Размышляла: если будет наблюдать, то придется много мыть. И решила обработать.

Промывая рану, она кричала вполголоса: «Мама! Я порезалась! Я потеряла много крови! Сама нарежь чертову колбасу!». Затем промокнула ваткой йод и начала сильно дуть, в перерывах повторяя: «Я спасу тебя! Спасу твою ладошку!». Искала в ящике бинт — бинта не было. У нее никогда не было бинта.

Ей пришлось надеть черный пиджак, чтобы не сильно замараться. Она ненавидела этот пиджак и иногда говорила ему всякие

гадости. Пиджак из-за этого сильно растянулся и порвал на себе пуговицу. А она была слишком горда, чтобы зашить ее обратно.

У автобуса был унылый вид — он дряхло покачивался, подъезжая к остановке, и ужасно портил воздух. Она старалась сильно не топать, запрыгивая в него, дабы не испортить ему настроение еще больше. На поручне, за который она успела зацепиться, было выцарапано странное слово. Она пыталась его прочитать, поворачивая голову, представляя подставленное к надписи зеркало, но не смогла.

— Здравствуйте! У вас есть наша карточка?

— Нет.

— Пятьдесят четыре рубля восемьдесят копеек. Пожалуйста, ваша сдача. Спасибо за покупку, приходите к нам еще.

— Здравствуйте! У вас есть...

— Нет.

— Сто восемьдесят восемь рублей шестьдесят копеек.

— Лучше считай.

— Извините, но все правильно. Ваша сдача.

— Не может быть так много!

— Смотрите — две бутылки пива по два литра и чипсы. Тут трудно обсчитаться.

— Может, ты своей перевязанной рукой что-то напутала?

— Моя рука здесь ни при чем. А вот если бы вы считать умели, то не задерживали бы очередь.

— Че?!

— А еще если бы были при трезвом уме и светлой памяти...

— Мам, меня уволили. Опять.

— Да?

Мама и папа уплетали салат. Онаковырялась в тарелке, поглядывая на их увлеченные ужином лица.

— Но у меня полно вариантов. Вы не беспокойтесь.

— Хорошо.

Она сидела, подперев щеку рукой. Сломала напополам дольку огурца, посмотрела в окно.

— Можно в ночной клуб барменом.

— Ага.

Сделала ров из помидорки, вылив ненужную массу на листик салата. Повернула горшок цветов на подоконнике.

— Или танцовщицей...

— Да-да.

Так и не поев, она вышла из-за стола. Папа вдруг посмотрел на нее, спросил:

— Дочь, как там у тебя на личном фронте? Мы с мамой, — он игриво защекотал жену, — внуков хотим!

— Да никак пока. Я скажу вам, когда...

— Ага, давай побыстрее там!

Она рассеянно улыбнулась. Помахала рукой и вышла из родительского дома.

«Надо кошку завести. Или парня? Не, лучше кошку», — подумала она по дороге в свою квартиру.

Она развалилась на своем старом кресле и представляла, как кошка будет исследовать ее дом. «Кошка бы не полезла сразу на мое кресло, — думала она, — кошка бы подошла к тумбе, посмотрела на пару стеклянных башмаков, на Джонатана, на... о да! Кошка заинтересовалась бы злобной малярной шоколадной крысой, стоящей на противных задних лапках. Лично я бы нацелилась на ее хвост. Облизнувшись и начиная вынашивать план о поимке этой дурацкой крысы, кошка бы обязательно подошла к шкафу — моему складу сырных шоколадных батончиков. Хотя, наверно, кошки не едят батончиков. Я слышала, им нельзя сладкое. Да».

Она нашла подходящую вакансию кассира в супермаркете, находящемся в трех кварталах от ее дома. Больше не придется ездить по полчаса на бедном автобусе. Она позвонила по указанному номеру, ответила девушка с ужасно милым голосом.

— Мы работаем посменно с перер...

— Хорошо. Я согласна.

— Э-э-э... Приходите завтра с утра на собеседование.

— Обязательно.

— Не забудьте трудовую книжку, меди...

— Непременно. Можно задать вам вопрос?

— Да?

— Кошки едят сырные шоколадные батончики?

— Да, наверно...

— Спасибо.

Она подошла к тумбе, взяла крысу и сказала: «Мы не будем заводить никаких кошек, крыса. А то они съедят наши батончики. Они мерзкие, эти кошки. Я с тобой полностью согласна».

— Вы нам подходите. Можете приступить к работе с завтрашнего дня.

— А с сегодняшнего нельзя?

— Сегодня вы ознакомитесь с персоналом

и режимом работы. Вот девушка — она вас с нашим магазином и познакомит.

Она пошла за указанной девушкой. Волосы девушки были земляничного цвета и пахли тоже земляникой.

— Ты быстро устроишься, — убеждала убежденного земляничная девушка, — тут все по-справедливости, все мирно. Все как у других, только подача персонала другая. Искренняя.

Она как-то была в этом супермаркете. Промокла до нитки, забежала погреться. И ее вполне «искренне» попросили из магазина выйти.

— Тебя как зовут-то?

— Мадлен.

— Ты что — из американской семьи?

— Да нет...

— Я Саша. Очень приятно. Так — тут у нас туалет...

Неизменный, незабываемый набор слов:

— Здравствуйте! У вас есть наша карточка?...

Мадлен вышла из магазина, завершив рабочий день, в три часа дня. Она шла к светофору, чтобы перейти дорогу. Медленно загорался зеленый. И тут она кое-что увидела.

У фонтана на камне сидела собака. Сидела и смотрела в одну сторону, иногда высовывая язык. Мимо нее проходило множество людей, но казалось, ни один человек не может ее отвлечь. И если бы не временами высовывающийся язык, ее можно было принять за статую. «Собака», — сказала Мадлен и подошла к ней.

Встала рядом, поглядела на небо. «Хорошая погода сегодня», — сказала она, как бы между прочим. Собака даже не взглянула на нее. «Можно мне присесть рядом? Нет? Но я все-таки присяду. Я Мадлен. Мад-лен, — она протянула руку поздороваться, но собака не реагировала, — Мне тоже очень приятно. А все-таки, как тебя зовут? Оу, у тебя ошейник. С именем, наверно? Ты не обидишься, если я взгляну?». Мадлен стала тянуть руку к собачьей шее. Та гордо подня-

ла голову, выражая совершенное безразличие. «Гровер. Почему ты тут сидишь, Гровер? Ты... потерялся? Твой хозяин где-то недалеко? Можно, я подожду его вместе с тобой?». Мадлен уселась поудобнее на теплом камне. Фонтан за спиной приятно урчал. Люди ходили мимо туда-сюда, и никто не обращал на них внимания.

«У тебя красивые лапы, — сказала она собаке, — большие. И наверно, в них полно когтей. Сколько у тебя когтей? Ты их выпускаешь, когда кто-нибудь приближается к хозяину?... Молчишь...».

Мадлен начала поскуливать — сначала тихо, потом громче. Проходящие теперь смотрели прямо ей в лицо — осуждающе, непонимающе. Она положила руки на камень и, опираясь на них, завывала, вытянув шею. Собака обернулась на нее, высунула язык и снова отвернулась. «Ты посмотрел на меня. Ты посмотрел, — удовлетворенно сказала Мадлен, — Я — Мадлен, и я ухожу. Приятно было познакомиться, Гровер».

На следующий день она встала очень поздно. Так поздно, что пришлось сразу пообедать. Когда она хотела надеть ботинки, чтобы идти на работу во вторую смену, обнаружила отсутствие одного шнурка. «Это ты, крыса малярная?», — погрозила она пальцем шоколадной статуэтке. «Нет! Это не я! Ты сама вчера порвала этот шнурок и хотела зашить, но забыла!» — запищала Мадлен. «Ах ты скотина — все знаешь!» — сказала она и стала искать остатки шнурка.

— Почему ты опоздала?

— Я зашивала шнурок на ботинках.

— Ты же в туфлях.

— Оказывается, я не могу зашивать шнурки.

— Кто ты вообще такая? Новенькая? В моем списке тебя нет. Как тебя зовут?

— Да, я новенькая. Меня зовут Мадлен.

— Из французской семьи, что ли?

— Нет...

— Ладно, иди работай.

«Я видела тебя днем, Гровер. Сейчас уже девять часов, а ты все еще здесь. Ты здесь

со вчерашнего дня? Ты действительно потерялся?». У Мадлен закончился рабочий день, она опять подошла к собаке, все так же сидящей у фонтана. «Хозяин оставил тебя здесь, а сам ушел? Сказал ждать и ушел?». Собака молчала. «Это же я, Мадлен, мы познакомились вчера. Хочешь, опять по-скулю?». Собака вдруг повернула к Мадлен голову, открыла пасть и гавкнула. «Другое дело, Гровер, — улыбнулась Мадлен, — а я уж хотела опять людей пугать».

«Ты потерялся недавно? Я тебя раньше здесь не видела. Это хорошо, что недавно — еще не все потеряно. Хочешь, я тебе помогу с поисками хозяина?» — сказала Мадлен и быстро подбежала к ближайшему прохожему:

— Извините, это не ваша собака?

Пожилой мужчина, поглядев на огромный кусок шерсти, заявил:

— Нет, не моя.

— Извините, не ваша? Собака?

Девушка даже не посмотрела на Гровера.

— Нет, не моя.

Мадлен села обратно на камень. «Извини, Гровер. Я пошутила. Я найду его как-нибудь по-другому. Я объявление в газету могу дать. Да»

Спалось Мадлен плохо. Ей снилось, как она шла с работы поздно вечером, и на нее напал какой-то ужасно пахнущий мужчина. Ладно бы он просто бил ее или отобрал деньги, но он еще и невыносимо вонял. Мадлен пять раз просыпалась от этой вони и, засыпая вновь, молилась, чтобы этот кошмар прекратился, но сон будто был многосерийным — одно и то же повторялось, обрастая новыми деталями. В конце концов, проснувшись, Мадлен была убеждена, что если бы она пошла в полицию выяснять, кто же напал на нее во сне, то сама бы нарисовала фоторобот.

На работе, когда Мадлен пошла на обеденный перерыв, в подсобке оказались земляничная Саша и еще две девушки. Они что-то тихо выясняли, у всех были озабоченные лица. Как только Мадлен появилась

в их поле видимости, они притихли, и Саша сказала:

— Мадлен, напомни-ка мне, как далеко отсюда ты живешь?

Мадлен, опираясь на косяк двери, приняла настороженную позу.

— В трех кварталах.

Девушки охнули и стали переглядываться.

— Вчера вечером в двух кварталах отсюда убили девушку, — серьезно сказала Саша.

А одна девушка добавила:

— Я слышала, что убийца ее еще и обокрал.

А другая шепнула:

— А я слышала, что она была кассиром в магазине.

— А мне сегодня приснился сон, будто меня около моего дома обокрал какой-то вонючка, — сказала Мадлен и вышла, думая пообедать в другом месте.

«Где ты прячешься ночью, Гровер?» Собака повела ушами, показывая, что на этот вопрос она не ответит. «Я принесла тебе поесть. Ты, наверно, уже долго не ел. Я взяла сосиски и хлеб с работы». Гровер с охотой стал поглощать еду. «Ночью тут одиноко и опасно. Это время не для таких собак, как ты. Один раз я оставалась ночью на улице. Мне было пятнадцать лет, и я любила гулять по вечерам. Ну, знаешь — эти огни, мигающие надписи, привлекающие внимание. Я никогда не заходила в двери под надписями, но знала, что за ними. Там красивые люди с белыми зубами и вежливыми лицами, там много цифр перед знаком доллара. Туда приезжают на блестящих машинах, потому что боятся оказаться одни в этой сверкающей темноте. А я считала себя дитем этой темноты, и каждый темный переулок был моим. До десяти часов вечера. В тот день я, нагулявшись, шла домой. У меня были некоторые планы — сделать по русскому языку домашнее задание, чтобы в классе на меня не пялили при его проверке. Учительница у нас была справедливая. Как-то я предложила ей написать на меня докладную —

может, тогда меня заставили бы заниматься. Учительница стала плакать и повторять, что она плохой учитель. А я в это время представляла, что вокруг меня огненные стрелы, которые я нечаянно роняю на окружающих.

Ну так вот, я поднялась на четвертый этаж и позвонила в нашу квартиру — у меня не было с собой ключей. Я ждала долго, но никто не открывал. Думала, что родители спят, и пыталась разбудить их. И тут вспомнила, что они хотели ехать в гости к одной своей знакомой, живущей на окраине города. А вернуться должны были рано утром следующего дня. Я позвонила соседям, с которыми была в доверительно-бытовых отношениях. Но их часто не было дома, и этот день не стал исключением. Мне было не по себе, а в голову стали приходить странные мысли — одна безумнее другой. В конце концов, — сказала я себе, — это лишь ночь. Одна ночь на улице.

У меня с собой не было ничего — ни денег, ни документов, телефона я вообще не имела. Да и сейчас его у меня нет. Я пошла в круглосуточный супермаркет. На улице холодало.

Сначала в магазине было интересно: я обошла все отделы, посмотрела на все цены, придумывала, что бы взяла, будь я воровкой, нашла свои любимые батончики. Но когда вернулась ни с чем к кассе, то оказалось, что прошло всего два часа. Я устала ходить, но сесть было негде, а рядом стоял грозный охранник, который с самого начала за мной следил. Я знала, что в парке неподалеку стоят скамейки, и решила туда пойти.

Прохожих на улице почти не было — зато машин не убавилось. Парк практически безлюдствовал. Я села на ближайшую скамейку и сразу же ощутила под собой холод дерева. Я сидела, пока какой-то старик не подошел к урне рядом со мной и не стал копать в ней. Он смотрел на меня так, будто видел во мне врага. Будто я могла у него что-то отобрать. Я не выдержала и ушла. «Я же не бомж, — думала я, — у меня есть кому пойти». Но я врала себе. У меня давно не было друзей и тех, к кому я могла бы обратиться за помощью.

Становилось все холодней и холодней. Ноги вели меня неизвестно куда. Замерзли все конечности. Но я взяла себя в руки и зашла в круглосуточный буфет, где яркий свет неприятно резал глаза, а люди смеялись над горячими тарелками и кружками — все казалось чем-то нереальным. Я села за крайний столик, на мягкий теплый диван и стала засыпать. Последнее, что я помнила перед тем, как провалиться в сон, было время на настенных часах — три ноль-ноль.

Меня разбудил терпеливый голос. Он говорил мне, что здесь спать нельзя. Он говорил мне: «Девушка, здесь нельзя спать». Он говорил и говорил это, а потом стал толкать вбок. Когда зрение вернулось, я увидела хозяйку голоса и высокого парня в форме, подходившего ко мне. Я извинилась и вышла.

На улице, от холода, весь сон пропал. Захотелось есть. Я подумала о нашем подъезде. И вернулась туда, опять звонила в двери.

В подъезде было хоть и тепло, но к каменному полу примерзала задница. Я решила, что организм у меня молодой и все стерпит, и легла, свернувшись. Сколько-то лежала так, закрыв глаза, а потом услышала стук шагов. Шаги приближались, отдаваясь эхом в моей голове, все тело вибрировало. Я лежала и ждала. Через минуту все стихло, на меня легла тень и сказала: «Кто ты такая? Эй, ты кто?». Я села и ответила тени, что я — житель этого дома. Она мне не поверила. «Если ты сейчас же не уберешься отсюда, я вызову полицию!». Я была зла, я сказала тени: «Если ваш ребенок забудет от дома ключи, я выгоню его так же, как вы меня сейчас». Тень спросила: «Из какой ты квартиры?», а я уже выходила из дома. Я решила пойти на остановку, Гровер. Там, где полно таких, как я — кому дверь не открылась просто потому, что некому было ее открыть.

Но я не дошла до остановки. В переулке, где нет светящихся окошек и мигающих огней, в переулке, который я считала своим, обнаружили его настоящие хозяева. Они окружили меня и спрашивали про деньги, телефон. Я сказала им, что у меня ничего нет. Один говорил: «Как это у тебя нет телефона? Врешь, сука!». Вдруг из-за дома вышли

какие-то люди. Присмотревшись, я увидела бритые головы. Зомби остановились, кто-то крикнул: «Скины!», и зомби не стало. А я так и стояла с протянутыми руками. Ко мне подошел один из бритых парней, спросил, все ли со мной хорошо. Я кивнула и сказала, что у меня ключей нет. Он усмехнулся и сказал, что у него тоже ключей нет. Но есть телефон. А я ему: «А у меня и телефона нет». И он говорит: «А у меня друзья есть. Без друзей звонить некому». Я говорю: «Это понятно». И собираюсь уходить, а он: «Я могу дать тебе свой телефон, и ты будешь звонить моим друзьям». А я: «Спасибо, но это твои друзья». И пошла оттуда в круглосуточный супермаркет, на охранника глядеть.

Вот так, Гровер, я и ночевала на улице. Родители приехали утром и сильно удивились тому, что я их ждала. Папа сказал, что думал, что я взяла ключи. Но я никогда не брала ключи, думала — мне откроют. Теперь мои ключи всегда со мной. Ведь только я могу открыть себе дверь.

Ладно, я пошла, Гровер. Надеюсь, я говорила не слишком монотонно. Завтра принесу еще еды. Супа принесу. До завтра».

— Здравствуйте, мне нужен холодильник, на котором было бы написано: «Сломаешь и меня — другой уже не купишь». И в конце можно еще: «Толстая скотина».

— Может, вам нужен ***?

— Да, покажите, пожалуйста.

Ночью холодильник Мадлен испустил последний вздох. И рядом не было никого, кто бы выслушал его последнее желание. Хотя примерная формулировка выглядела бы так: «Уж лучше на свалку, чем опять сюда».

У Мадлен заканчивался рабочий день, когда к ней подошел грузчик Вася.

— Говорят, ты ведьма, — подмигнул он ей, подняв коробку, — сны вещие снятся...

— Говорят — значит, правда, — пожала плечами Мадлен.

Утро было красивым, солнечным, морозным. Мадлен шла и глубоко дышала. До

работы было рукой подать, но идти и опять надевать форму ей не хотелось. «Форму можно в любое время надеть, — думала она, — красную, синюю, черную, да любую вообще. А утро меня целый день ждет, чтобы я им подышала». Кто-то сзади нее бежал. Мадлен знала, что это не за ней. Она улыбалась и дышала, зная, что это не за ней. Мадлен было интересно, за кем бегут — за вот этим боровом со сверкающей лысиной или за блондинкой в красном пальто. Ответ напрашивался сам собой.

— Привет, одноклассница.

Парень, перерезавший путь Мадлен, был, очевидно, ее одноклассником. Она сказала:

— Извините, я вас не знаю.

— Не смейся, Мадлен, я несколько не изменился, чтобы меня не узнавать. Ладно, не напрягайся, я Максим.

Люди обходили их, ругали их, а Мадлен порывалась идти.

— Да погоди ты. Где ты сейчас живешь? Здесь?

— Да, здесь. Работаю тоже здесь. Но скоро улечу... в Гренландию.

— Не училась, значит. А я университет закончил в столице. Работать приехал, в родной город.

— Очень рада за тебя. Мне идти надо.

Мадлен сорвалась, побежала.

— Да брось, Мадлен! — кричал ей парень, — Думаешь, все забыли про тебя? Думаешь, я тебя не знаю, Мадлен?! Гренландия! Да ты всегда здесь, никуда отсюда не денешься! Мад-лен!

«Ну, Гровер, съешь хотя бы чуточку, вчера же мой суп съел», — просила Мадлен собаку. Гровер отворачивался, а Мадлен сердилась. Отвернулась, замолчала. Собака тронула ее носом. «Ладно, Гровер, — улыбнулась Мадлен, — рожки больше не буду делать. На хотя бы хлеб». Собака стала жевать хлеб. Они сидели, как всегда, на камне у фонтана, слушали стуки каблучков, прыжки детей, ступания тяжелых ботинок. «Ты когда-нибудь пробовал петь? Некоторые вообще никогда в своей жизни не пели и не знали, могут они это делать или нет.

Представляешь, если бы у меня был голос оперной певицы, а я бы не знала? Но я не могу петь, а моя бабушка могла. Она не пела до восемнадцати лет, а потом запела и узнала, что у нее есть талант. И начала петь везде — стала популярна, ее показывали по телевизору, у нее было много поклонников. Она говорила мне, что ее жизнь была усыпана цветами, что та ее жизнь, которую видели все, была продуктом ее таланта. А та бабушкина жизнь, которую видела я, была напряженной и насыщенной разными склоками и интригами. Ее талант был постоянной причиной ссор. Она любила после очередного скандала лежать в ванне в лепестках роз. Дома не пела никогда, говорила, что не хочет мешать эти две жизни еще больше. «Детка, если ты захочешь, решишься петь, то делай это для себя. Для своего мужа, детей, внуков. Зачем раздваивать свою жизнь, зачем ее мельчить?» — говорила она мне. Но я не умею петь. У меня нет возможности выбрать, что делать с моим талантом. У меня нет возможности ошибиться. И поэтому я буду жить так, как обычные люди.

Имя мне дала бабушка. И моя американская, французская, итальянская семья здесь не причем. Она была любительницей фильмов и смотрела их очень часто. Одна из героинь, видимо, звалась Мадлен, вот и она назвала меня так. Я до сих пор боюсь найти этот фильм и увидеть, чего же хотела от меня бабушка, кем она меня... видела, — она немного помолчала, — Холодно что-то. Пойду домой. Пока, Гровер».

Мадлен взяла сумку и помахала Гроверу рукой. И, когда на горизонте она превратилась в маленькую точку, собака заскулила.

На следующий рабочий день к Мадлен подошла Саша и попросила выйти для разговора. Вид у Саши был серьезный, Мадлен согласилась.

— Мадлен. Я хочу тебе кое-что рассказать. Дело в том, что... у меня есть парень. Ты, наверно, уже видела его — он заходит за мной иногда? Ну, такой высокий брюнет? В черной куртке? В голубых джинсах?... Он зовет меня ягодкой?

— Аа, все, поняла.

— Вот — он пригласил меня на завтра вечером в ресторан. И вид у него был торжественный, когда он это говорил. И встречаемся мы уже два года... Короче, я хотела бы знать, что он завтра скажет — ну, понимаешь? — Саша перешла на шепот, — Предложение — понимаешь? Вот — я бы хотела знать и... подготовиться. Ну, платье какое-нибудь особенное купить и так далее... сможешь?

— Как?

— Слушай, не надо стесняться меня. Я примерно представляю, что ты сейчас чувствуешь. Я как-то предсказала, что наша кошка умрет. Я знаю, как на тебя смотрят в таких случаях. У меня у самой мурашки бежали... Ну, сможешь?

— Что-то я не понимаю...

— Да хва..! Мадлен. Твой сон — он же сбывался? Тот, который ты нам рассказывала? Вот — я хотела бы у тебя попросить, чтобы ты... ну не знаю, подумала обо мне перед сном и... чтобы я тебе приснилась! С моим парнем в ресторане, пожалуйста! Я заплатить могу...

— Подожди. Это не шутка — да? Да. Но мои сны никогда не сбываются, это просто мои сны. Я сказала тогда это от балды, вы говорили — я сказала....

— Хочешь, я тебе перед сном позвоню? Может, это поможет!

— Это бессмысленно вообще!

— Ты просто не знаешь о своих силах! Способностях!

— Да все я знаю — их у меня нет!

— Да мне все равно — просто попробуй!

Мадлен сдалась:

— Конечно, ничего не получится, но — хорошо, я попробую.

Саша бросилась к ней на шею:

— Мадлен, ты самая хорошая! Напиши мне свой номер, я обязательно позвоню!

Она позвонила в час ночи:

— Я не слишком поздно?

Мадлен еще ближе подтянулась к аппарату:

— Нет. В самый раз. Еще немного, и меня бы даже слон не разбудил.

— Ой, извини. Ну, вот, я тебе звоню, чтобы ты обо мне подумала.

— Ты не представляешь, как много я уже о тебе подумала.

— Да? Это хорошо... Мы сидим в ресторане, я в красном платье и с розовым цветком на волосах, он — в черном классическом...

— Это что?

— Это я пытаюсь тебя направить...

— Слушай, я и так достаточно направлена. Даже про розовый бант угадала.

— Розовый цветок.

— Не важно. Ты позвонила — слава богу. А теперь я хочу спать.

— Сладких снов!

— И тебе того же.

Мадлен проснулась и, ругая себя, начала вспоминать, что ей приснилось. «Фууф. Слава богу — ничего», — обрадовалась она и стала собираться на работу.

— Мадлен, привет. Можно тебя на минутку?

Саша отвела ее подальше от лишних ушей:

— Ну — как? Он предложит?

Земляника смотрела на Мадлен, как на последнюю надежду.

— Эээ... да. Да, предложит.

— Правда?.. Ты врешь.

— Я? Да. Вру.

— Ты ничего не видела, да?

— Ничего.

— Но все равно спасибо. Извини еще раз, что разбудила вчера.

Саша стала уходить, но скоро вернулась.

— А можно вопрос? Почему ты соврала?

— Ааа... у тебя такое выражение лица было...

— Уау, нашей Мадлен не чужды человеческие чувства! — улыбнулась Саша, и Мадлен, чуть замаявшись, улыбнулась в ответ.

Саша подозвала Мадлен наклониться поближе к ней и прошептала:

— Я знаю. Я знаю, в чем твоя проблема. У тебя нет парня. У нас есть один грузчик...

— Передайте своему Васе...

— Ладно, ладно, не ругайся. Я помочь хотела... работай.

Мадлен была очень зла. «Чуть дашь слабинку — и начинают советы давать!» — шипела она, возвращаясь на рабочее место.

«И представляешь — она говорит мне про того грузчика, который как-то назвал меня ведьмой!.. Гровер, я не дура. Я специально сказала ему в ответ, что сплетни не врут, ждала его реакцию. А он ничего на это не сказал! То есть он верил этим сплетням, а я, по его мнению, какую-то несусветную чушь сказала! Да! Чушь! Гровер, как ты думаешь — я постоянно говорю чушь?»

Собака открыла пасть и зевнула. «А издаваться надо мной не надо», — предупредила его Мадлен. Тогда собака выпрямилась и, смотря на Мадлен, гавкнула. Девушка погладила его затылок. «Еще раз такое выкинешь — на суп пойдешь...»

— Это твоя собака?

Маленькая девочка с огромным портфелем за плечами стояла рядом и внимательно глядела на Мадлен. Та посмотрела на собаку и улыбнулась:

— Нет, это не моя собака.

Девочка удивилась:

— Она что — бродячая?

— Нет. Эта собака — мой друг.

Девочка еще больше удивилась:

— Так разве бывает?

— Видимо, да.

— А где она живет?

— Нигде не живет.

— Как это? Мой друг, Сережа, живет в соседнем доме номер двадцать, а я живу в доме номер девятнадцать. А ты где живешь?

— Эээ... я вот в этом магазине живу.

— В магазине не живут. В магазине мама покупает продукты.

— Слушай, девочка, раз ты такая умная, то зачем спрашиваешь?

— Можно мне собаку погладить?

— Она не любит всезнающих девочек.

Гровер сам подставил морду к маленькой ручке и дал себя погладить. Девочка тихо что-то ему говорила, собака поскуливала.

— Девочка, мне просто интересно — а кто победит на следующих выборах? Точнее, что тебе насчет этого мама сказала?

— Коммунисты. Мама сказала, что Путин — засранец, он нашу страну развалил. Как наш папа, который нашу семью развалил. И черта с два мама будет одна ребенка воспитывать. И алименты этот скотина не платит, так что ребенок скоро в детдом отправится.

Девочка на прощание поцеловала собаку в макушку и пошла своей дорогой. Коротышка с большим портфелем уверенно шла по пешеходному переходу, терпеливо ждала зеленого цвета светофора, а потом скрылась в толпе.

«Это была еще одна маленькая я, Гровер», — сказала Мадлен, провояжая взглядом ее сиреневую курточку.

На следующий день Мадлен пришла к Гроверу перед своей сменой довольно рано, в обед, с большим пакетом. Гровер, учуяв вкусненькое, облизнулся.

«Привет, Гровер. Как себя чувствуешь? Сегодня у нас знаменательный день — день рождения моей бабушки. Я решила отпраздновать его с тобой вдвоем, а это после смерти бабушки ни разу не бывало. Себе я купила пирожные и батончики, а этот горячий чай из дома взяла. Тебе я принесла... оп-ля! курочку, только что сваренную, и бульон на этой же курочке. Бон аппетит!». Оба голодные, они стали поедать свои лакомства. Прохожие глазели на них, тогда Мадлен повернулась к фонтану, и Гровер последовал ее примеру. Когда с трапезой было покончено, Мадлен, откинувшись, сказала: «Когда у бабушки был день рождения, и я приходила к ней с каким-нибудь пустяковым подарком, она ругала меня. И говорила, чтобы я ей больше их не приносила. Она говорила, что подарок для нее — видеть радость на моем лице, и дарила мне что-нибудь. Я упиралась — учила бабушку принимать подарки! Но в конце концов оставалась либо со слоненком, либо с куклой... Бабушка умерла в сорок девять лет. Все говорили, что это самоубийство. Но только я знала правду.

Дело в том, что иногда бабушка позволяла себе некоторую слабость. Когда она лежала в ванне в лепестках роз, то баловалась бритвой. Она водила ею по руке так, что волоски на ее руках вставали, будто наэлектризовавшись. Как-то я увидела ее с бритвой и попробовала сказать, что это опасно. «Конечно, опасно, — усмехнулась она, — И не дай бог, я увижу тебя с этим. Но мне... нужно как-то поддерживать в себе жизнь. Я читала, что погонять кровь по жилам полезно в моем возрасте». В день, когда она умерла, именно в тот момент, самолет, пролетающий мимо, вдруг бабахнул — так бывало как-то раз, ну, и повторилось. Бабушка испугалась, полоснула себя бритвой и... собственно, умерла. Она не могла сама убить себя — она бы никогда меня не оставила. У меня, кроме нее, не было никого — она бы не смогла».

Гровер наклонил морду, Мадлен погладила его. «Ну вот, Гровер — опять на печальной ноте закончила. Прости».

Мадлен обслуживала покупателей, когда к ней подбежала Саша:

— Мадлен, ты была права! Он сделал мне предложение!

— У вас есть наша карточка? Да не может быть такого, — сказала Мадлен.

Покупательница обиделась:

— Почему не может быть? Есть. Вот.

Мадлен сказала:

— Извините, это я не вам.

Саша:

— Прикинь, а я тебе не верила!

Мадлен:

— Это тоже ваше? Не надо.

Покупательница:

— Как не надо? Это мое, мне надо.

Мадлен:

— Я не вам.

Саша:

— Мадлен, у нас скоро будет свадьба.

Мадлен:

— Двести пятьдесят рублей шестьдесят четыре копейки...

Покупательница:

— У меня только тысяча.

Мадлен:

— ...Очень рада за вас.

Покупательница:

— Не поняла — почему...

Мадлен:

— Это я не вам! Саша, давай потом поговорим!

Саша:

— Короче, я приглашаю тебя на свадьбу.

Покупательница:

— Девушка, можно побыстрее?

Мадлен:

— Черта с два!

Покупательница:

— Что-о?

Саша:

— Мадлен! Если я пригласила — значит, нужно идти!

Мадлен кричит:

— Ваша сдача! Приходите к нам еще! А если я не хочу?

Саша спокойно сказала:

— Ой, да ладно, Мадлен. Я вижу. Так не хочешь, что аж покупателей распугала. Работай.

И Саша, развернувшись, пошла прочь. Мадлен стояла, разъяренная, среди притихших покупателей, и пробивала товар.

Поздним вечером того же дня в квартире Мадлен раздался телефонный звонок.

— Алло? — послышался голос мамы, — Мадлен, приезжай в больницу на Пушкина.

— А что? Почему в больницу?

— У твоего папы что-то с сердцем случилось.

— Сейчас приеду.

Было темно, автобусы ходили редко. Мадлен дрожала от холода, от нетерпения постукивала ногой. «Надо было спросить, насколько это серьезно, — укоряла она себя, — Если автобус через пять минут не подъедет, я побегу на своих двоих».

Автобус приехал, лениво открылся, лениво закрылся и лениво тронулся. «Да что ж одни остановки-то?!» — нервничала Мадлен, когда они в очередной раз остановились. Наконец добрались и до больницы.

Мадлен, не дожидаясь объявления остановки противным гнусавым голосом, выбежала, и вскоре попала в помещение с вечно искусственным освещением, холодными стенами и ущемленными людьми.

Подбежала к маме:

— Ну что? Где он?

— Ему лучше. Вот здесь, заходи.

Мадлен зашла в палату и увидела отца.

— Привет, папа. Как ты себя чувствуешь?

— Хм. Нормально. Знаешь, что сказали врачи? Они сказали, что у меня сердечная недостаточность. Ты знаешь, что это такое?

— Эээ... да, кажется, знаю, — врала Мадлен, — это ничего страшного. Это поболит и... пройдет, да. Эээ... сначала страшно, очень неприятно, а потом... проходит.

— Да? Хорошо. Я почти счастлив.

Они чуть-чуть помолчали. И Мадлен сказала, глядя на белое папино лицо:

— А у меня парень появился.

Папа улыбнулся и любопытно посмотрел на дочь:

— Да? И как его зовут?

— Гровер.

— Гровер? — отец перестал улыбаться.

— Он... он из Америки, то есть его отец из Америки, отец его так называл.

— Ааа. А как он выглядит?

— У него красивые... руки.

— Руки? Как у девчонки, что ли? — папа засмеялся. Мадлен тоже засмеялась.

— Приведешь как-нибудь, покажешь?

— Ага. Как будет свободное время. У него.

Отец удовлетворенно хмыкнул. Мадлен стояла возле кушетки, водя пальцами по трубочкам, опутывающих отца. Рядом находились плавающие приборы и прочее медицинское оборудование. Капельница, стол...

— Думаешь, я не знаю, какой сегодня день? — сказал отец, — Думаешь, я ничего не помню?

— П-пап, тебе волноваться не надо, наоборот...

— День рождения моей мамы мы всегда справляли очень весело. Приходило много людей... Я дарил ей цветы — тюльпаны. Красивые, как она сама. И она улыбалась и

целовала меня. А я был счастлив, как ты... Последние годы она отмечала свой день рождения только с тобой. Ты целыми днями была у нее — не знаю, что ты там делала, но домой приходить не хотела... И мы потеряли тебя. Каково потерять шестилетнего ребенка?

— Ааа...

— Она не оставила тебя нам, даже когда умерла. Сколько тебе тогда было?

— Одиннадцать.

— Ты не говорила с нами, как с родителями. Это было... мучительно... поначалу.

— Папа, тебе не надо сейчас напрягаться.

— Пойми, Мадлен — я всегда хотел быть твоим отцом — но ты сопротивлялась. Я хотел бы иметь хотя бы одного близкого человека — будь то твой муж, твой ребенок...

— Папа, я пойду, тебе нужен покой.

— Хорошо, иди.

Она вышла из папиной палаты. Вышла из больницы, вышла из автобуса и, наконец, вышла из раздумий.

Что бы ни говорил папа, как бы он не оплакивал потерю дочери, Мадлен не верила ему. Ведь сегодня день рождения был не только у бабушки. Сегодня был день рождения Мадлен.

Было три часа дня, когда Мадлен вышла из магазина и как всегда направилась к собаке. На душе ее было беспокойно от вчерашнего происшествия, но она не хотела рассказывать об этом Гроверу — решила терпеть. Дойдя до светофора, она оглянулась на фонтан и остановилась на секунду. Гровер был не один — рядом с ним, вплотную, стоял мужчина в пальто и что-то проделывал с шеей собаки. Гровер упрямылся, извивался, но не мог выбиться.

— Стойте! — вскричала Мадлен, побежав к ним, — Мужчина! — она бежала изо всех сил, — Стойте!

Мужчина удивленно посмотрел на запыхавшуюся девушку.

— Что вы делаете?

— Это ваша собака? — спросил он.

— Н-нет, а разве ваша?

— Нет. Она что — потерялась?

— Да. Она ждет своего хозяина. И не надо ее куда вести, у вас нет на это прав. Вернется хозяин и ее... заберет.

— Я нашел ее и я ее заберу. Она мне нравится.

— Это воровство!

— На ней не написано, чья она, — молодой человек стал уводить Гровера.

— Стойте! Куда вы его ведете?

— К себе домой, если вам так интересно, — нетерпеливо сказал он.

— Подождите, он не сможет жить у вас дома!

— Почему это? — мужчина перешел на быстрый шаг.

— Гровер — свободная собака и не сможет жить взаперти!

— Это он вам так сказал или вы решили? Почему вы сами не забрали его к себе, если он вам так дорог?

— Я говорю вам, он — воль...

— Вы хотите поговорить об этом? Хотите сказать, как можно выжить бездомной собаке в городе?

Мадлен молча бежала за ними. Видела, как Гровер лениво передвигает лапами, скулит.

— Стойте! — сказала она грозно.

Мужчина обернулся.

— Я его хозяйка, и я его заберу!

— Ха-ха! И где же он будет жить? В вашей комнате в доме родителей? Будет спать под кроватью, чтобы его никто не заметил?

— Я живу одна, в квартире.

— Так почему же вы его не забрали? Слишком велик для вашей квартиры?

Мадлен стояла и сдерживала в себе слезы. Мужчина отвернулся, пошел, сказал через плечо:

— Мне надоел этот бред. Тут нечего обсуждать.

Мадлен рванула, повернула мужчину, и сказала прямо ему в глаза:

— Гровер — мой друг.

Молодой человек смотрел на крупные слезы на ее лице, на отчаянный вид, на коробку «Педигри» в ее пакете и сказал:

— Иногда мы теряем друзей, — и, повернувшись, опять пошел.

Мадлен кричала ему вслед, рыдая:

— Да что вы знаете о настоящих друзьях?! Вы ничего о них не знаете! Для вас лишь деньги имеют смысл, и для ваших друзей тоже! Для вас друг тот, кто может сделать вас еще богаче!

Мужчина повернулся, стремительно подошел к ней и, подойдя вплотную, наклонившись, с нажимом сказал:

— У меня был настоящий друг. Он умер несколько дней назад. У него была собака, которую он очень любил, которая была для него всем. Перед его смертью я обещал ему, что буду заботиться о ней, что возьму ее к себе, но она сбежала. Я искал ее каждый день, несмотря на то, что у меня нет времени ею заниматься, а у моей жены аллергия на собачью шерсть. Я просматривал все объявления в газетах, я даже знакомых всех оповестил, но не нашел ее. Ах да, я забыл сказать, как звали эту собаку. Ее звали Гровер... — он чуть помедлил, положил руку на плечо девушки, — Мне жаль.

Мадлен стояла и смотрела, как они уходят. Они уходили, уходили, уходили, пока не превратились в две точки. Одна была мохнатой, а другая длинной. Две точки заполняли жизнь Мадлен.

На следующий день Мадлен сидела у фонтана и смотрела на прохожих. Вернее, на обувь прохожих. Поднять голову выше Мадлен не могла. Ей казалось, что еще чуть-чуть, и она заговорит сама с собой. «Сумасшествие, — думала Мадлен, — Интересно, мне сейчас идти в психушку или после обеда». В этот момент она хотела сделать то, что никогда не считала нужным — начать курить, употреблять наркотики. Все то, что убивало бы ее медленно, но верно. Иначе жизнь скучна и состоит только из фонтана, магазина и ее квартиры — неодушевленных предметов, с которыми даже и поговорить не о чем. Мадлен сидела на холодном камне и ругала солнце, что оно есть и слепит глаза, ругала изготовителей каблуков, которые стучали сейчас по плитам, ругала управляющего магазином, который не захотел давать ей полный рабочий день.

Внезапно на нее легла тень. Тень заговорила:

— Привет. Долго сидишь?

Мадлен приподняла голову выяснить, кто говорит, но из-за слепящего солнца тень оставалась тенью. И Мадлен сказала:

— Нет, недолго.

— Гровер сам привел меня сюда, когда я вывел его прогуляться.

И Мадлен сказала:

— Гровер, иди сюда.

Собака подошла к ней и уткнулась носом в ее куртку. Тень сказала:

— Моя жена держалась молодцом, только ребенок всю ночь не спал. Думаю, все будет хорошо. Как ты себя чувствуешь?

— Я не люблю разговаривать с тенью.

Мужчина послушно переместился. Он стоял и уже по-другому смотрел на Мадлен. Гровер сел рядом с девушкой, как всегда, и стал смотреть на прохожих.

— Я целый день говорил ему, что его хозяин не вернется. Наверно, он не понял меня. И я хочу попросить тебя об одном одолжении, — он смотрел, не мигая, в ее глаза.

— Чтобы я ему это сказала? — спросила Мадлен.

Мужчина кивнул. Гровер обернулся. Мадлен начала:

— Гровер, твой хозяин умер. Он никогда больше не вернется к тебе. Привыкай к новому. Не приближайся к жене нового хозяина, не тревожь ребенка нового хозяина, сдерживай свое желание погулять...

— Ты издеваешься?

— Я потеряла друга, а ты сейчас пришел подразнить меня? Будете приходить раз в месяц, а я буду сидеть на этом камне и ждать, когда у тебя появится свободное время, и ты соизволишь с ним прогуляться?

Мужчина ответил:

— Если бы ты хоть где-нибудь разместила объявление о пропаже собаки, этого бы не случилось!

— О, давайте сейчас выяснять, что было бы, если бы этого не было!

— Но почему ты этого не сделала? Тебе не с кем больше поговорить? Тебя никто больше не слушает?

— Да хватит лезть в мою жизнь!
 — Да ты просто использовала Гровера, чтобы кому-нибудь пожаловаться, рассказать о своих проблемах!

— Это не так!

— Некоторые заводят в этих целях маленьких милых кошек, которых можно держать в однокомнатной квартире!

— Они жрут шоколадные батончики!

— Что за чушь вообще? Ты действительно так одинока, что целыми днями сидишь одна и ешь шоколад?

— Я работаю.

— Да ты просто ждешь! Ждешь, как и эта собака, своего хозяина! А точнее, чуда, которого не произойдет! Мне тебя очень жаль!

— А мне жаль Гровера, о котором ты говоришь постоянно в третьем лице!

— Вот и жди первого, кто просто утащит тебя за поводок и будет говорить о тебе в третьем лице!

— Да иди ты, придурок!

Мадлен быстро встала, поцеловала собаку и побежала. Мужчина смотрела ей вслед, а Гровер поскуливал. И мужчина сказал:

— Пошли, Гровер. Надеюсь, она меня поняла. Неглупая вроде.

Мадлен пришла после работы в свою комнату и снимала куртку, когда позвонили в дверь. Она нечасто слышала свой дверной звонок, разве только когда ошибались адресом. Она все еще была очень напряжена и поэтому поняла, что чудеса любезности сейчас точно не продемонстрирует.

Открыла дверь — за ней стоял молодой человек и держался за руку возле локтя.

— Привет, я твой... сосед. У меня небольшое чэпэ с рукой, — он показал на прореху в своей руке, к которой была приложена вата, — Я хотел бы у тебя бинт попросить. У тебя есть бинт?

Мадлен стояла и смотрела на него, готовая взорваться, но парень, к сожалению, этого не знал.

— Затаскивал новый шкаф, а при вытаскивании старого порезался гвоздем. Ты — моя ближайшая соседка, вот я и решил обратиться к тебе...

— Нет у меня бинта! И никогда не было! И вообще никогда не будет! И не капай тут мне своей кровью!

Парень опешил, перестал улыбаться:

— Л-ладно, не нервничай ты так, уже уйду.

Мадлен захлопнула дверь. И несколько не чувствуя угрызений совести, подошла к крысе:

— Знаешь что, крыса? Меня все достали. Меня все достали, и я уйду спать. Разбудишь, когда надо будет идти на работу. Спокойной тебе ночи.

Мадлен легла прямо в одежде на диван и пыталась уснуть. После часа попыток ею все-таки овладели угрызения совести.

— Привет, ближайший сосед. Извини меня за вчерашнее, у меня был плохой день.

— Бывает, — улыбнулся он.

— Можно зайти? Я тебе кое-что принесла.

— Конечно, заходи.

Мадлен, сделав шаг за порог, достала из пакета упаковку бинта. Сосед удивился:

— Что это? Бинт? Да мне уже не надо вроде...

— Надо-надо. Бинт всегда нужен. Я взяла с зеленым рисунком, под цвет твоей вчерашней кофты. Потому что никак не могла вспомнить цвет твоих брюк... Хотя теперь я вижу цвет твоих глаз — надо было взять с голубым рисунком. Да что я говорю — я купила целый пакет бинтов, можешь взять любой.

Мадлен открыла пакет и показала парню свои покупки. Он достал один бинт:

— Я возьму красный. Под цвет моего настроения.

— Отличный выбор. Хотя надеюсь, бинт больше тебе не понадобится.

— Спасибо, — улыбнулся сосед.

— Ну все, я пошла. Счастливого.

— Пока.

Мадлен пришла в свою комнату и заметила, что крыса как-то странно на нее смотрит.

— Что? Ты думаешь, я дура? Эх, ничего ты не понимаешь. Смотри, сколько у меня бинтов. Он прибежит за ними, вот увидишь.

Мадлен ждала пять минут. Раздался звонок, она пошла открывать. На пороге стоял сосед.

— Слушай, я вспомнил, мне не нравится красный. У тебя желтый есть?

Они сидели на диване, ели шоколадные батончики и смотрели телевизор.

— Откуда у тебя эта крыса? — спросил сосед.

— Это мне бабушка подарила. На один из моих дней рождения.

— А моя бабушка дарила мне всегда один и тот же подарок — бисквитный торт. Она говорила, что тортов никогда не бывает много и что торты приносят счастье.

— Правда? Давай купим один и попробуем?

— Что попробуем? Найти счастье?

— Ну можно и торт попробовать, — засмеялась Мадлен.

Зазвенел телефон. Мадлен подошла и взяла трубку.

— Алло? Мадлен? Это Саша из магазина. Из которого ты уволилась недавно.

— Привет, Саш, — удивилась Мадлен.

— Тут проблема одна. У магазина второй день собака сидит. Наш новый охранник Миша пытался ее отогнать, но она прибегает обратно. Я вспомнила, что видела ее с тобой...

— Где она сидит? У фонтана?

— Нет, у дверей магазина. Я как-то видела ее с тобой. По-моему, это была она...

— Я иду!

Мадлен побежала к дверям, начала одеваться.

— Что случилось? Куда ты? — побежал за ней сосед.

— Мой друг... — она слишком торопилась, — мой друг ждет меня. Провер. Это собака, — она посмотрела на него, — Ты пойдешь со мной?

Руслан Комадей

Рыбный парад



Пыжятся рыхлые листья жары,
пасынок-свет отнимает полочки.
Хочешь монетную яму урыть,
поле получше?

В ржавой муке шелестит колесо,
в тошной саване — соломенный айсберг,
блудного хлеба песочный кусок,
детство без азбук.

Бисерный полдень раздарен взамен
сумрака, отсвет петляет как ветер.
Голод заткнулся вдвойне и к зиме.
Я не заметил.

Я — рыбак в полиэтиленовом порту,
мой мобильник созвывается с будильником.
Начинайте молчать без меня. Я приду
утром или понедельником.

Перестановка пустот. Рыбный парад в конце,
где цепенеет солнце и мириады фурий
преследуют мя, а я, белочкой в колесе,
худею, не позаботившись о фигуре.

узелам в душе у проводницы
обрывочная пыль не снится
стоп-краном точкой запятых
вагоном изнутри из них
гос.знаков подорожников свеченья
механиков прощающих прощенья
в архитектуре чайных построений
лбы букв болят от ударений
в провал стакана — звук запущен
земля в земле как свет растущий
стаканов и вагонов заодно
вздымая отекающее дно
небесное где склеенные звуки
под куполом избыточной разлуки
протискивает воздух к поездам
где мелочь раздавая городам
как машинист от несварения икал
моргал вагон со скоростью зеркал
цепляясь за приборы как за руки
сигналами огней не выдавая муки.

не обижай мой Бажов инвалидов подземным трудом
капли проколоты вертится снег колесом
не устаёт наставать осень бесплатно
цепи из ветра пролёты прохладно
тень осыпается в пальцы поди-собери
грабит хозяина медного таза дыры
дым нападает на пепел как дура на одурь
Пепел Петрович хочет казаться седобородым

пригоршня леса устала не быть молодым
рассказни жидкие не приставай
тыдыдым

Тропа беспробудна. Не встретить по одежке цветы,
в саду, где разлитые запахи вширь.
Споткнёшься наотмашь — мираж обмелеет впритык
на вздохе, когда за душой ни дыши.

Вспорхнула дорога и вскользь сыплет воздух, сопя,
и камни латает, и вяжет жара.
А город пуглив, благодать високосна зазря,
и солнце качается словно жираф.
По швам расстояние треснет, загнётся закат,
из озера лёд возвратится на юг.
где поле слепое от ветра, прогнувшись назад,
навзрыд отбивалось без рук.

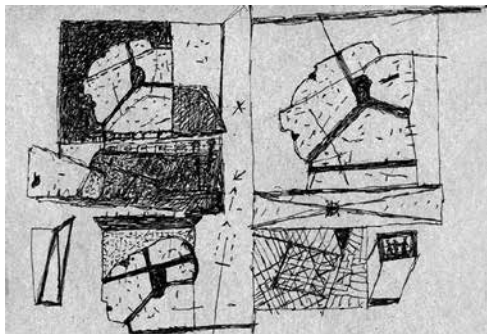
Протяжный черновик, чахоточный от смысла,
дряхлает как порог в разменности дверей
бумажного вранья, где азбука прокисла.
Сегодня — пожелчи, и поздно — пожелтей.

Обмакивая в ночь вязанку снов и взгляда,
загадывая назад: неслышно и смешно,
где жвачное тепло плывет, куда не надо,
топорщатся слова, и плавится окно.

И напиши на мгле: я ветреник повтора,
бумага без дверей, где всход не перекрыть.
Я изначальный смех загнал, как поезд скорый,
но эхо из горла как грех пытаюсь скрыть.

Роман Мамонтов

Карталы



*... если восстанет на меня война,
и тогда буду надеяться.*

Псалтирь, Псалом 26

На перрон вывалило с десяток человек. Они были рады, что освободились от духоты плацкарта и привкуса чая. Нагреватель «титан» оказался до того старым, что краска превратилась в надёжный слой теплоизоляции. Проводница поморщилась, подтянула юбку обеими руками и тоскливо взглянула на белобрысого парня. Он легко перекинул через плечо спортивную сумку с надписью «Adibas» и нагло махнул рукой. Напоследок. «Как Герасим, на всё согласен», — подумала

она и вновь поправила юбку. До Оренбурга ещё долго, ибо чёртов Оренбург на краю света, и до него пилить ещё и пилить. В служебном купе душно, ведь мягкая простыня как удавка. А в стихах часто врут... Нет ветра ночью в степи, нет прохлады под сердцем. Только душно вдвойне! Ну да. Бывает. Случается и проходит. Это — жизнь. Эка невидаль! Любить — не значит быть любимой. Полутона — для девчонок с бантиками. На выпускном вечере. Проводницу не удивишь даже голым негром посреди василькового поля. Вот только солнце слепит. Целые-десять-минут-спит-солнце. По перрону разносится: «отправляется... пассажирский... Оренбург...». Вагон вздрагивает, она машет своим флажком, будто стирает со школьной доски банальную надпись: «Adibas». О, чёртов Оренбург! До тебя пилить ещё и пилить.

Всё просто: в стихах врут, юбка мешает, и уже новый придурок с двадцать седьмой плацкарты требует себе чай... с сахаром, который кубиками...

«Любить — не значит быть любимой». Просто поезд тронулся.

Егор посмотрел на часы. Стрелки показывали шесть сорок. Утреннее солнце заливало пустой перрон и жёлто-белое здание двухэтажного вокзала. Пассажиры нехотя тянулись в сторону привокзальной площади, сплошь утыканную ларьками. Они были закрыты и больше смахивали на контейнеры или сварные металлические ящики разных цветов, хотя жёлтый преобладал во всём. Как морду тамплиера защищает забрало, так и маленькие ставни ларьков оберегали свой ассортимент: пиво, сигареты, конфеты, презервативы и кильку в томатном соусе. Робкий ветерок гонял пыль между нестройными рядами ларьков и их тенями. К автобусной остановке подкатил старый пазик. Несколько человек нырнуло внутрь.

Егор не торопился. Он печально изучал местность. Привокзальная площадь перетекала в широкую улицу, более похожую на запущенный сквер с трёхэтажными домами по бокам. Такими постройками богат каждый районный городок. Он по-своему мил и неопрятен. Здесь каждый человек наперечёт, здесь живут и умирают просто так, а сохнувшее во дворе бельё скажет о жизни больше, чем любая столичная книга. Одиночество — это отсутствие стереотипов, они чужды тому, кого окружают улицы с названиями: Ленина, Пушкина, Красногвардейская, Славы или какая-нибудь Шлакоблочная на пересечении Второй Огородной. Не заблудишься. Не растворишься. Не спрячешься.

Ещё ночью в вагоне поезда Егор распотрошил пачку «Примы». Он угрюмо закурил последнюю сигарету и кинул картонный комок в урну. Промазал. Комок подкатился к ногам, уткнувшись в кожу коричневого родительского чемодана. Егор сам паковал своё бельё, однако мать всё переиначила, ибо футболок оказалось больше, чем трусов,

а носки не того размера. Естественно, они поссорились, потом обиделись, сколько-то молчали, и, наконец, праздничный ужин примирил всех. Егор пнул чемодан, как бы проверяя реальность ситуации (не сон ли?). Тот покачнулся. Всё правильно — и трусы, и футболки, и носки были на месте. Последняя сигарета всегда короче первой. Егор швырнул в урну окурки и увидел рядом толстого мужика. Тот громко тянул пиво из бутылки.

— Здравствуйте., — начал Егор.

Мужик покосился:

— Здорово, коль не шутишь.

— Как можно попасть в «Локомотивный»? Пешком?

— Служить, что ли?

— Ну... типа того.

— Ага, вот и я о том же. Понаехало вас. Как на войну.

Он ещё раз взглянул на Егора и добавил:

— Вчера было больше.

Егор взял чемодан. Мужик отпил ещё пива и махнул рукой в сторону военного городка:

— Вот по этому скверу, ёптвой, через дорогу и парк отдыха. Там ещё рельсы пересекают. Ну, в смысле, железная дорога... Через дачи, ёптвой, в дыру забора. Это и будет ракетная дивизия.

— Спасибо, — ответил Егор.

Он представил заумную траекторию будущего движения и чуть сгорбил.

— Ничего. Бывай, коль не шутишь... Ёптвой.

Мужик громко хлебнул пива, по животу прошла волна и остановилась у пряжки. Наверное, пиво было тёплым или живот большим...

«Локомотивный» оказался военным городком, где расквартировалась ракетная дивизия. Америкосы прозвали её «техаско-даллаская». Ибо ракеты — не винтовки. Вставит так вставит. Конгениально! Вернее межконтинентально! Но Егор, вы-

пускник технического университета, три года пинал лакированные шланги военной кафедры и, конечно же, не ведал о магической силе ракетной дивизии. Очутиться на пустынном перроне вокзала ему помогла роспись президента Бориса Ельцина: офицеров запаса — в строй, приказ такой-то, за номером таким-то, повелеваю спасать страну... Конгениально! Вернее межконтинентально!

Старый пазик укатил, оставив посреди перекрёстка чёрное облачко гари. Следующего автобуса ждать не хотелось. Пешком так пешком. Пора начинать думать рационально. Как? Егор ещё не знал, но твёрдо решил, что «по-иному». Он оторвал чемодан от земли и не спеша двинулся в направлении «через дорогу, ёптовой, и парк отдыха» к заветной дыре в гарнизонном заборе.

— Там рельсы путь пересекают, там рельсы жалобно поют..., — стучало в висках Егора. Он рассеяно оглядывался, будто ища поддержку у стареньких домов и лохматых кустарников-переростков. Одна только мысль, что родной город где-то там и всё знакомое и привычное тоже там, заставляла сосать подмышкой.

Августовское солнце уверенно ползло вверх. Над асфальтом воздух начинал дрожать. День обещал быть жарким и сухим. Егор понимал, что жизнь меняется быстро, хочешь того или нет, и только неопределённость плетётся за тобой надоедливой шавкой, изредка повиливая хвостом и распугивая стайки голубей.

— Скажите, пожалуйста, куда идти с этой бумажкой?

Сержант ухмыльнулся. «Очередной пиджак, блин», — мелькнуло в голове, и он снисходительно посмотрел на Егора — вначале на ноги, будто убедился в их подлинности, потом на лицо, на молнию старенького чемодана и закончил осмотр почёсыванием своего подбородка. Всё на месте, всё в порядке.

— Предъявите удостоверение личности, — начальственно произнёс сержант.

Егор ухмыльнулся и полез в карман. Сержант облизнул верхнюю губу и путано добавил:

— И это ещё... э-э-э... проездные документы... с удостоверением личности, что ли...

«Плох тот солдат, который не хочет стать генералом», — подумал Егор и протянул свои документы. Сержант нахмурился и сдвинул брови, да так, что на лбу вырисовались три мощных продольных складки. Он принялся изучать бланки. «Совсем как в анекдотах, — усмехнулся про себя Егор. — Мозговой штурм. Взятие Зимнего неандертальцами».

Пока сержант изучал ценные документы, Егор осмотрелся. Ничего особенного в командно-пропускном пункте военного городка «Локомотивный» он не увидел. Въездные металлические ворота, шлагбаум, бетонный забор и стела с фирменной эмблемой и надписью: «Войсковая часть 61547». Метрах в ста — кирпичная водокачка. За шлагбаумом начинался городок. Панельные брежневки утопали в зелени. Чувствовался порядок, тот самый порядок военных городков, который не терпит суеты. Казалось, птицы и те подчиняются уставу. «Курорт какой-то», — заметил про себя Егор.

— Пожалуйста, — донесся голос сержанта. Он протянул папку хозяину. — Вам, товарищ лейтенант, прямо по дороге и направо, в управление дивизии. Там у дежурного спросите, где сидит полковник Карелин.

«Вот как! Лейтенант!», — смутился Егор. Кем только в жизни и чем не называли его, но чтоб лейтенантом... От нахлынувшего чувства достоинства даже спина распрямилась. Егор приосанился и коротко, но звучно поблагодарил:

— Спасибо, товарищ боец!

Сержант молча присел на стул, перевернул страницу журнала и, глядя на удаляющегося Егора, плюнул в потолок. Плевок медленно отделился от поверхности и плюхнулся на зализанный пол КПП.

— Кучумов, сука, вытри!

— Есть, товарищ сержант! — застучали сапоги...

Топот сапог на верхнем этаже казармы первого ракетного полка и запах гуталина встретили Егора будничным безразличием, как тот плевок сержанта половую тряпку рядового Борисова.

Егор только что побывал в управлении дивизии у Карелина. Полковник не церемонился. Привычно обслюнявил кончик указательного пальца, перевернул несколько страниц своей амбарной книги и, отыскав нужное место, принялся что-то строчить. Он изредка посматривал на Егора и задавал лаконичные вопросы. Откуда прибыл? Что заканчивал? Холост или женат? Где остановился? Голоден или нет? Он заметил, что кафе недалеко и цены вовсе не кусаются. Итог встречи был прост: Карелин, почесывая правое ухо, определил Егора в первый полк.

— Это через КПП и направо. Самая дальняя казарма. Вход через дверь, что ближе к забору. Казарма находится на втором этаже. К подполковнику Касаеву.

Карелин лениво посмотрел на Егора и протянул сухую ладонь:

— Привет подполковнику Касаеву.

Дверь скрипнула. Прохладный коридор управления ракетной дивизии остудил горячее сердце Егора. Со стены, обшитой лакированным деревом, на старенький чемодан Егора пялились настенные часы. «Сегодня мой чемодан интересует многих», — подумал он и поплёлся в первый ракетный полк к какому-то подполковнику Касаеву...

— Панюшкин, тебя мать зачем родила?

— Не могу знать, товарищ прапорщик.

— А родила она тебя, Панюшкин, ошибочно.

— Так точно, товарищ прапорщик...

Мимо прошмыгнули два солдата в синих трусах и вылинявших майках. На тощих ногах кирзовые сапоги смотрелись нелепо, ноги чем-то напоминали стволы декоративных пальм, воткнутой в огромные черные кадушки. Солдаты тащили бак с водой

и швабры, которые в армейском обиходе называются ласково «машками», то ли за обильную шевелюру, то ли за принадлежность самого предмета к мытью полов. Егор помнил это ещё с военной кафедры.

— Вот видишь, Панюшкин, — прапорщик Хакимов проводил взглядом солдат, — труд делает из обезьяны человека.

— Так точно, — отчеканил дневальный Панюшкин.

Егор посмотрел на Панюшкина, Панюшкин на Егора, и во взгляде каждого застыл немой вопрос: кто обезьяна, кто человек? Интеллектуальную игру прервал Хакимов:

— Пиджак?!

Лицо Панюшкина на мгновение озарилось. Егор заметил это, он увидел и отсутствие двух верхних зубов у вояки. «Вылитая обезьяна», — подумал он. И с дерзостью ответил Хакимову:

— Выпускник высшего гражданского учебного заведения. Прибыл к месту службы по приказу президента эР-эф.

Чуть помолчал и уже с просительными нотками закончил:

— Мне бы к... полковнику... э-э... Касаеву.

Хакимов почесал подбородок.

— Прямо-таки сам и приказал?

— Кто приказал?

— Он самый, — и Хакимов ткнул пальцем вверх, — президент эР-эф.

Егор опустил глаза. Перепираться не хотелось, доказывать тоже. «Метаморфозы», — мелькнуло в голове. Егор вдруг вспомнил, как две недели назад он стоял перед деканом факультета. Диплом защищён, тёплый коньяк будоражил голову, и декан факультета весело жал руку: «Поздравляю вас, поздравляю».

Хакимову тоже было весело. Таких сельчаков в армии хоть отбавляй.

— Мне бы к Касаеву, — повторил Егор.

— Ладно. Пойдём. Я в курсе.

Они двинулись. Егор не совсем понял Хакимова. Куда идти и в курсе чего он? Прапорщик остановился у дверей каптерки, лязгнув замком и пропустил вперед Егора. Там лежал приготовленный комплект формы,

не всей, конечно, но именно той части, которую министерство обороны посчитало нужным молодому лейтенанту — выпускнику высшего гражданского заведения. Шинель и яловые сапоги в комплект не входили, а брюки оказались узкими. Но прапорщик Хакимов — весёлый прапорщик, и главное находчивый. Появились другие брюки, как бы невзначай, в самый раз. Егор не знал, что Каверин уже позвонил Касаеву. Подполковник плеснув остатки водки в чайную кружку, гаркнул на старшего помощника начальника штаба капитана Кравченко и, смешивая башкирские слова с отборным русским матом, передал суть разговора.

— Щас, товарищ подполковник, — ответил хохол Кравченко, распахнул дверь и бросился звонить прапорщику Хакимову. Дежурный по роте мигом нашел его и передал трубку. Хакимов знал свою работу. В голове уже крутился вопрос: что в будущем можно «поиметь» с нового лейтенанта? И, кажется, толково приготовился к встрече. Дверь каптёрки таинственно захлопнулась.

Панюшкин злобно посмотрел им вслед.

— Обезьяна, — шепнул он, и тут же добавил:

— Две обезьяны.

— Угу, и труд им не поможет, — подмался Синичкин, вытирая о трусы мокрые руки.

У тумбочки дневального стояла бадья с водой, рядом валялась «машка».

— А если по почкам?

— Понял.

Синичкин схватил «машку» и тут же поскользнулся. Вода из ведра с шумом вылилась на деревянный пол казармы. Панюшкин брезгливо подошел к Синичкину и саданул ему по почкам.

— У-у-у..., — взвыл тот.

Дверь каптёрки лязгнула. Из проёма высунилось красное лицо Хакимова. Панюшкин вытянулся струной, а Синичкин юркнул за колонну, вытирая ребром ладони сопли и слюни.

— За время вашего отсутствия происшествий не было! — браво отрапортовал Панюшкин.

Дверь захлопнулась. Синичкин схватился за «машку» и начал драить казарменный пол.

— Не дурак. Был бы дурак, не понял, — бубнил он под нос себе. — Был бы дурак, не понял...

Двухэтажное офицерское кафе Егору понравилось. Без излишеств. Минимализм. Просто и надёжно, как в БМП. Внушительные витрины отражали высокие облака. Увесистые двери, массивные ручки. Даже лёгкий ветерок прошёлся по ухоженному кустарнику. Духота чуть отступила. Или кажется?... Асфальт проезжей части размечен, даже зебра нарисована. Не зря же улица носит имя Ленина. Всё как у людей. На просторном крыльце лениво покуривали два офицера. Фуражки на макушке, ботинки блестят, брюки отглажены. У одного большая звезда на плече. «Целый майор», — вспомнил Егор присказку одного капитана с военной кафедры и поднялся на крыльцо. «Целый майор» то и дело поглядывал на стайку голубей.

На втором этаже со скрипом открылась рама, и парень с рыжей шевелюрой бросил им горсть семечек. Он широко улыбался. «Иванушка-дурачок», — подумал Егор и с неприязнью посмотрел на парня. Затем аккуратно достал деньги и, оглянувшись по сторонам, пересчитал. Ещё в поезде он разбил их на две части: одна — крупнее номиналом и количеством — на будущее, другая — помельче — на текущие нужды. Так учила бабушка Нина.

Мимо простучал сапогами патруль. Двери кафе резко распахнулись. На крыльцо вывалила весёлая компания молодых людей. «Обед удался», — подумал Егор и чуть посторонился.

— Пиджак? — раздалось из толпы.

— Что-о? — не расслышал он.

— Пиджак, говорю, — выделился из толпы самый весёлый и коренастый. — Ну... как и мы.

— Пожалуй ... Типа того.

— Где остановился?
 — В восьмёрке.
 — Соседи, значит. — Хлопнул Егора по плечу коренастый и протянул руку. — Серёга Гордей.
 — Егор.
 — Пообедаешь, Егор, приходи. Мы на первом этаже. В сто четвертой комнате.
 — Ладно.

Оживлённая компания двинулась к зданию почты, за которой и располагалось пятиэтажное здание «восьмерки» с громким названием «Гостиница №8». Егор вспомнил о кафе. Из открытых дверей соблазнительно и бесцеремонно плыл запах горячих беляшей и наваристого горохового супа. «Война войной, обед по расписанию», — повторил он прописную истину и решительно шагнул внутрь.

Восьмерка утопала в зелени. Солнце с трудом пробивалось сквозь листву, зато нещадно жарило старую крышу пятиэтажки и асфальт улицы Ленина. Нет-нет да пробежал ветерок. Егор только что пообедал, а настроение никак не улучшалось. В сто четвертую комнату не тянуло. Но делать нечего: хочешь информацию — иди и раздобудь, заодно и ключ от комнаты получи. Егор ещё не знал, что персональная кровать с инвентарной тумбочкой, не говоря уж о двухместной комнате, большая роскошь в военном городке, поэтому он терпеливо отыгрывал время лишней сигаретой. Дверь восьмерки постоянно брякала. Чужие и незнакомые люди. Чужой и незнакомый городок. Чужая и неудобная «Гостиница №8», напоминавшая студенческую общагу родного строительного факультета. Кто-то входил, кто-то выходил, кто-то говорил, кто-то молчал. «А есть ли жизнь на Марсе?», — спросил себя Егор.

— Есть, — донеслось до него. Перед ним вырос Серёга Гордей.

— Ну, пошли, что ли, — улыбнулся он, кивая на сигарету. — А то пепел прожжет пальцы.

Егор и не заметил, как закончилась сигарета.

— Ну, идем, — хмыкнул он, выкидывая окурок. — Хоть на Марс, хоть в Красную армию.

— В ракетную дивизию, блин...

За спиной хлопнула дверь, и они очутились в прохладном фойе. Тут жизнь кипела и выстилала себе путь чемоданами, сумками, тюками, руганью и весельем. Новый знакомый свернул направо, в глубину тёмного коридора. Запахло туалетом. Знакомый студенческий запах. «Будто никуда и не уезжал», — подумал Егор, еле поспевая за новым знакомым...

Скорый поезд к дому мчится.

Полечу домой как птица,

Полечу как птица я-я-я!...

«Сектор Газа» наяривал как мог. Обои грязных тонов, пыльный подоконник, скрипучий деревянный пол. Быт общаги — это состояние, когда говоришь себе: «жить можно, но не более того». И слушать можно. И трахаться можно. И всё можно. И мать с сестрой далеко. И ты взрослый, то есть сам по себе, как мартовский кот... Только петь не хочется или летать. Видимо, пока. «Полечу как птица я — я — я...». Гитарный риф простой, заводит сразу. Одно мешает — высокие ноты. Они без басов превращаются в колокольчики адского шута. Колонки маленького кассетного плеера дать качества не в сила, однако, количества — хоть отбавляй. Этакий походный вариант меломана на обшарпанной общаговской тумбочке.

... Снял погоны и петлицы,

И уже успел напиться.

Демобилизация-я-я...

Все сидели. Кто на стуле, кто на кровати, кто просто на полу, и что-то делали. Читали, подшивались, думали, говорили. Сумки, вещи, обувь, нитки, зубные щётки, бритвы, книги, доширак, кипятильники, карты... Свободное пространство комнаты — это обшарпанные стены, которые со временем непременно обрастут какими-нибудь

плакатами «Битлз» или «Кино». Пиджаки осваивали комнату. Комната присматривалась к ним.

— Двадцать пять миллиметров, — донеслось справа.

— Всего лишь? С таким и кукла не даст...
Комнату тряхнуло. От хохота.

— Дурак ты, Серега. Я же о звездочках.

— И я о них. Это как истребители во время войны. Сбитый самолёт, и — звездочка на фюзеляже, сбитый самолёт, и вновь — звездочка.

— А причём же тут кукла?

— Так ведь двадцать пять миллиметров...

Серега Гордей развел руками и артистично сделал поклон.

«Пиджаки» опять заржали.

— Иди ты...

Егор пододвинул стул ногой и сел. Душно и неуютно. Он огляделся и увидел пачку газет. Наобум взял первую и сделал веер. Остатки полиграфии закружились над мусорным ведром.

— Точно двадцать пять миллиметров? — переспросил Дима.

— Так точно. — Ответили ему.

Дима аккуратно взял линейку и недоверчиво приладил к нижнему краю погона. Ровно двадцать пять миллиметров! Он вздохнул и проколол шилом дырку. Звёздочка легла на место. Она блестела. Дима несколько секунд полюбовался, затем перевернул погон и расправил лапки звёздочки. Вторую звездочку Дима зажал в зубах, приложил линейку к краю погона и заново отмерил двадцать пять миллиметров.

— И что за говночудище придумало этот устав? — пробурчал он.

Егор, наблюдавший за ним, хмыкнул. Ему предстояла такая же работа. Обмахиваясь веером, он неожиданно произнёс:

— Вот именно! Двадцать пять миллиметров! Понимаешь, брат? А?!... Бытие определяет сознание.

— По-ни-маю, офицер! — вдруг завопил Дима. — Всё понимаю! И двадцать пять миллиметров! И бытие! И твоё сознание! По-ни-ма-ю!

В комнате стало тихо. Никто не ожидал таких эмоций. Даже «Сектор Газа» и тот приуныл. А Дима продолжал:

— Понимаю-ю-ю... двадцать пять миллимет-ров...

«Во как вставило парня», — подумал Егор и закурил.

— Ты куришь? — как ни в чём не бывало, спросил спокойно Дима.

— А что?

— Ничего. Воняет.

— Двадцать пять миллиметров, — осторожно заметил Серёга Гордей, — это в два раза больше любой сигареты!

— Гигант!

— Половой гигант Дима!

— Гигантский половой гигант!

— Полигигант!

— Батя!

— Точно Батя!

— Парни, — остановил всех Егор и поднял указательный палец. — Мы же дебилы!

— Что-о?

— Ничего! — затушил сигарету Егор.

Серёга широко улыбнулся. Он пододвинулся к Сане, очки которого казались больше его головы, что весьма помогло ему в учёбе. Просто преподавателей шокировал дико-заумный вид обладателя таких загадочных микроскопов.

— Дебилы в децибелах! — ударил Серёга в плечо Саню.

Линзы яростно блеснули, и вердикт был вынесен:

— И главный у нас — это Батя!

Все опять заржали. Так Дима сделался «Батей». Худенький, невысокий, прилизанный. Он молчал и, нахохлившись, как воробей на холоде, вдевал нитку в игольное ушко, а как известно: «удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Однако, фраза Иисуса к Бате не относилась... Это к слову. Схоластика. Пустоцвет. Трагикомедия. Армия и логика — разные вещи, и будь тут рядовой Синичкин, он бы философски заметил: «Был бы дурак, не понял».

Серёга вынул кассету из плеера, поставил новенький «BASF», и в комнате забряцали

другие колокольчики всё того же адского шута. «Статус Кво» пробирал до печенок, будто сто четвертая комната и вправду готовилась к войне с Дядей Сэмом.

*A vacation in a foreign land
Uncle Sam does the best he can
You're in the army now
Oh, oh, you're in the army now...*

Через полчаса Батя полностью экипировался. Новенькая рубашка, отглаженные брюки, пилотка, погоны и лычки. Он прошёлся по комнате, сложил нитки и иголки в коробку и, козырнув Серёге Гордею, покинул комнату. И слышен был скрип, и непонятен был он, — то ли это новые ботинки убогого фасона, то ли это старые доски общежития вели Батю к карьере боевого офицера ракетных войск стратегического назначения, а попросту — РВСН.

— Офицер! — присвистнул Серёга Гордей и плюхнулся спиной в койку.

— Батя!

— Наш Строгий Батя!

— Точно. НСБ — Наш Строгий Батя!

Егору досталась место то ли в фойе, то ли в подсобном помещении. Импровизация — конек комдива, вернее его зама по тылу и обеспечению. Перекроили на скорую руку. По привычке. Решать так решать, зато комната получилась просторной, с распашными дверями, как в администрации микрорайона. Восемь коек, восемь тумбочек, один большой стол и металлическая вешалка на толстой трубе. Крючки под одежду напоминали головы гусей во время разборок. Это веселило. На худой конец, можно и зонтик повесить. Жаль, что остался дома. Зачем пиджаку зонт? Плащ-палатка есть, по штату положено. А за окнами — деревья шелестят, дрожат листвой, наверное, тополя.

Егор лег на спину. Скрестил ноги и устался в потолок. Перекрытия давно не белили, поэтому цвет почти не угадать. Как

зарядили в одном крутом боевике: «Идентифицировать невозможно». Зато люстра должна хорошо светить. Егор не поленился и встал, щёлкнул выключателем. Лампочки вспыхнули. Всё правильно — жить можно, даже вскипятить воду в стеклянном стаканчике, ибо сервис общежития предполагал инвентарный графин и четыре стакана, ну может, пять. У Егора завалились пакетики чая.

— А что, попьём? — широко улыбнулся ему сосед

Он распаковывал чемодан и старательно расставлял по полкам тумбочки мелочь.

— Вот, держи, — протянул он Егору пачку печенья.

— Спасибо.

— Спасибо не булькает, — и на столе очутилась маленькая бутылочка коньяка.

— Факир, — усмехнулся Егор.

— Доктор, — протянул ему руку сосед. — Можно просто Лёха.

— А почему доктор?

— Так... по-разному. Не санитар же, — расплылся в своей широкой улыбке Лёха-Доктор.

Он был смугл. Черные волосы коротко стрижены. Карие глаза с хитрецей и задоринкой. Огоньки души. А душа-то уж точно широкая, как улыбка. Сам весь большой, складистый и весёлый. Высоким людям труднее жить — всегда на виду. Был бы Наполеон выше сантиметров на сорок, не зная бы нам двенадцатого года и голубого неба Аустерлица тоже. Только вопрос: где проверили бы силу русского оружия? И на ком?... Доктор напоминал ребёнка, — и взглядом, и походкой, и словами.

— А я уже форму взял! — гордо сообщил Доктор.

— Медицинский халат, что ли? — раздался голос из угла.

Там на кровати сидел и листал книгу невысокого роста парень.

— Олег, — представился он. — Электротехнический факультет политеха.

— Электромонтёр, значит, — раскупоривая бутылку, заметил Доктор. — Хотя учиться сложнее было... Ну да ладно. За лейте-

нантские погоны, господа... эти... как его... господа кадеты.

Шутка? Возможно. Теперь — всё шутка. И комната, и духота, и чемодан, и день недели. Ущипни себя за щеку. Больно? То-то и оно, что больно. Ты — в армии. Бывший студент и офицер запаса. Сокращёно: Б.О.З. Шутка? Никак нет! Приучайся, пиджак! Да-да, нет-нет, а что сверх того, от лукавого. «За погоны, лейтенант!». Что б дорога пухом, вернее лёгкою была... А коньяк из стаканов — это стильно. Особенно в жару, с печеньем, в гарнизоне...

Егор вдруг брякнул:

— Будьте как дети, и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таково их царство... ракетное.

— Что?

— Стилизация монолога Спасителя, — пояснил Олег, надкусывая печенинку.

Доктор почесал затылок и мягко, как сытый кот, улыбнулся:

— А жить тут можно. И деньги платят. Нам ещё подъёмные должны. Окладов десять.

— Раскатал губу.

— Родину ведь защищаем!

— Угу. Ядерный щит державы.

— Служба она службой, — добавил в стакан коньяк Доктор и с надеждой подмигнул Егору. — А жизнь-то продолжается!

Егор достал пачку сигарет и уселся удобнее. Он понимал, что доктор акцентирует на слове «жизнь» не просто так, в силу слабого лексического багажа, а в надежде на историю, случившуюся недавно. Жаль Олега — он не догонял ситуации.

— Покурим, что ли, — предложил Егор.

— Дверь закройте, а то комендант отполирует вам... всем нам... зад, — сказал Олег и сам закрыл дверь.

Олег не курил. У него не было сестры, не было брата, и жил он в частном доме. С родителями. Они обменяли квартиру на своё хозяйство, благоустроенное. Доделывали сами, Олег помогал, поэтому он ценил логику и немногословие. Олег был осторожен и в разведку Доктора не взял бы, запалиться можно.

— Продуманный, — кивнул Доктор. — Только комендант — это женщина. Ей за пятьдесят, а ходит она в мини-юбке. Туру-ру, тара-ра.... Сечёшь поляну, друг?

— Тем более дверь должна быть закрытой!

— Ну, давай, давай.

Егор закурил. Доктор приподнял стакан и полюбовался янтарной жидкостью.

— Я, мужики, — начал он, — навел мосты. С кадровыми... Зависал у одного лейтенанта, Андрюхой Скиба звать. Из нашего полка. Ему комнату выделили с кухней и туалетом. Пока ремонт делает. Через месяц жену с ребёнком привезёт... Он с контрактницами недавно познакомился. Ну, и вечеринку затеял. Две таких девчонки, — Доктор развёл руками, будто хотел описать холм, уходящий в знойную степь. Мешал горизонт.

— Тины тёрнеры, что ли? — спросил Олег.

Доктор презрительно покосился на него:

— Сидишь в углу и сиди. Курить — здоровью вредить!

Егор улыбнулся.

— Короче, мужики! Загуляли до утра. Одну драл я, вторую Скиба... Она ещё минет Андрюхе сделала. Не хотела, но сделала, пацаны. Андрюха заставил... А может, сама хотела.

Доктор пожал плечами.

— А ты подсматривал? — придвинулся Олег. — И тихонько... в кулачок?

— Тебе же сказали: кто не курит, тот отдыхает!

Доктор махнул рукой и налил ещё коньяка. Олег казался нудным, Егор непонятым. Скиба в наряде, да и ремонт его жилища подходил к концу. Скоро появится жена с ребенком. Всё. Точка со Скибой. А контрактницы Оля и Света найдут себе кого-нибудь с жильём. Однако, жизнь не закончится на этом... Она продолжается, но что принесёт день завтрашний — одному Богу известно. Когда непонятно, думать не надо. Вон ребята с универа вообще в Чечню попали, в самую мясорубку. Артиллеристы-ботаники. А тут боевые дежурства. Шесть часов под землёй, двенадцать отдыхаешь, бильярд, спортуголок, телевизор — тепло, сухо и

безопасно, ко всему прочему, ещё и кормят и платят деньги.

— Жить можно, — заключил он.

— Тут не курорт, а служба, — не унимался Олег. — Служба! Понимаешь, Доктор?

— Служба у собаки, а меня направили.

— Президент, между прочим, — добавил Егор.

— Да, хер с ним... с президентом нашим, — захмелел Доктор. — Когда-нибудь... да, именно, когда-нибудь, мне сделают минет... контрактницы.

Олег исподлобья посмотрел на него, бросил маленький кипятильник в стакан и полез в сумку за сахаром. В руки попала электрическая бритва. Олег аккуратно достал её и положил в тумбочку к туалетным принадлежностям. Затем выудил какой-то пакетик и положил обратно. Видимо, не к спеху.

В дверь постучали. Доктор вопросительно посмотрел на Егора.

— Табачок твой учуяли, — зевнул он. — Может, не открывать?

Стук стал более настойчивым.

— Ну вот. Комендант в мини-юбке, — Олег посмотрел на Доктора со злостью и добавил. — Теперь всем по минуте!

Егор быстро потушил сигарету и открыл дверь.

— Здравствуйте!

— Здорово.

На пороге с чемоданом и сумкой через плечо стоял толстый парень. Круглые очки поблескивали, живот нависал над пряжкой ремня. По лицу катились крупные капли пота.

— Мне к вам... Я — Степан.

— Пиджак, что ли? — обрадовался Доктор и хлопнул себя по ляжке.

Степан посмотрел на него, потом медленно и разборчиво произнёс:

— Казанский государственный университет. Мехмат.

На пол также медленно и разборчиво опустил чемодан, затем дорожная сумка.

— Заходи, — сказал Олег. — Чай будешь?

— Буду.

Доктор взял бутылку коньяка, повертел перед собой и добавил:

— Ну да. Только чай. Сирота ты наша... казанская.

Дверь захлопнулась. Четыре койки из восьми оказались занятыми. Из приоткрытого окна донеслось:

— Управление дивизии — прямо, остальным — направо-о-о-о...

Грянул дивизионный духовой оркестр. Трубач немного фальшивил. Зато полки строго чеканили шаг. Асфальт тяжело дышал, будто чувствуя тяжесть ракетной дивизии. Он повиновался каждому удару каблучка. И было в этом что-то завораживающее. Доктор толкнул ногой бутылку, она нехотя закатилась под кровать. Вода в стакане уже вскипела. «Праздник, который всегда с тобой», — заметил Степан, и поставил на тумбочку литровую бутылку водки. Доктор растекся. Он просто ослепил своей улыбкой комнату, она была обворожительная и нахальна, как оральный секс, если выразиться по-научному. Олег недовольно отошел к своей кровати и посмотрел на Егора. Он пытался найти поддержку. Но союзников не оказалось.

— Уж лучше минет, — буркнул он.

Степан вопросительно посмотрел на всех.

— Не смущайся, Степа. Он — гей, — заржал Доктор.

— Пошел ты...

Олег упал на кровать и молча повернулся к стене. Он не пил, не курил и не хотел служить. Он видел себя инженером на местном заводе. Лучше бы заснуть на ближайшие два года. Олег уткнулся в подушку и обхватил матрас. Доктор шутил и разливал по стаканам, и всё дальше и дальше уходила комната, её обитатели и разговоры. Ему снился президент, грозящий из Кремля пальчиком: «понимаешь, — глумился он, — как те... так и эти... ядерный щит, понимаешь...», и комендант общежития, бесстыдно покачивая бёдрами, плыла по коридору в мини-юбке с огромной вывеской: «Олег — твою жизнь минет».

Олег со стоном перевернулся на другой бок.

Голова раскалывалась. «Таблетку бы», — мрачно подумал Егор и залпом осушил два стакана кипяченой воды, поскольку водопроводная пахла каким-то дерьмом. Она имела бурый оттенок. Хочешь суицида — попей из крана, дешево и надёжно. Кадровые предупредили, что в городке с водой большие проблемы. Трубы до того гнилые, что хорошая авария не за горами. Предыдущий комдив продал состав труб, которые шли на замену старых, и через месяц ушёл на повышение, куда-то в округ. Короче, прав Марк Твен: воровать надо составами. Почёт и уважуха.

Вчера поздно вечером Егор всё-таки «подшился». С трудом, конечно, и вопреки уговорам доктора «продолжить знакомство и забить на устав стратегических сил». Петлицы, погоны, подворотничок. Осталось начистить ботинки и можно стартовать. Первый день службы — не кошачьи экскременты, а новая лейтенантская жизнь! «Будь она неладна», — сплюнул Егор и пошел драить обувь.

В комнату заглянул Батя. На первом этаже умывальники с унитазами были заняты. Он решил воспользоваться сантехникой второго.

— О, да тут вчера весело было! — пристынул он и скрылся.

Олег перестал давить прыщи. Он посмотрелся в маленькое зеркальце, напрягая кожу на подбородке, и, полюбовавшись результатами работы, сунул зеркальце в карман. Олег был готов. Осталось только побрызгаться одеколоном.

— Красавец, — процедил Егор.

— Да, не обезьяна, — парировал Олег.

Егор хотел ещё что-то брякнуть, но передумал. Он посмотрел на часы. Время поджигало. Олег ухмыльнулся, глядя на спящего и мирно сопящего Доктора.

— Генерал, — сказал он и вышел.

Построение дивизии через семь минут. Пора.

Боже, какая осень! Егор замер посреди улицы Ленина. Воздух пах дикими свежи-

ми яблоками и утренней сентябрьской росой. Так бывает, когда первые лучи солнца касаются травы, уже прижатой к земле дыханием надвигающейся осени. Нежные и невесомые, розоватого оттенка лучи солнца падали на пятиэтажки, асфальт, войсковой госпиталь и деревянный городок детской площадки. Со стороны железнодорожного вокзала, отделенного от военной части дачными кооперативами и полями, доносилась перекличка маневровых тепловозов и тяжелое бурчание товарняков. Когда слышишь стук колес, хочется купить билет и куда-нибудь скрыться, например, домой, туда, где ждут и твои надежды обретают плоть.

— Что застыл? — вернули Егора на землю.

Он обернулся. Перед ним стоял Серёга Гордей в новенькой форме. Кокарда на фуражке блестела, портупея туго перетягивала китель. Чувствовалось, что это не кадровый военный, а какой-то партизан, надыбавший форму. На войне как на войне. Президент велел служить, значит, надо служить. Гордей выдержал требование устава — двадцать пять миллиметров от края погона. Молодец, Гордей! Бери пример с Бати, он плохому не научит, у него даже бабы не было. Интегралы да микросхемы — вот и вся личная жизнь. Три раза в неделю онанизм, куда ж без него? Не-ка, Батя плохому не научит.

— Двигай целлюлитом. Три минуты до развода дивизии.

Егор не ответил и молча направился к воротам КПП. Со всех сторон стекались офицеры. «Муравейник, — подумал Егор. — И я часть этого».

Егора «приписали» к первому полку. Всего было шесть. Егор потом выучит позывные каждого полка: НАКЛОН, ПРИВОД, ОБЖИГ, ПАТОЧНЫЙ, РЕЗОН, ПЕРЕШЕЕК, АКТИНОН. Егору предстояло служить в «Наклоне». И кто придумал такие названия? Генштаб или выше? Враг должен теряться в догадках. Например, полк с названием «Паточный». Каким образом это название связано с ракетными войсками? Трудно ответить. «Обжиг» понятное дело. Накроет так накроет, америкосы узнают полный и

стоцентный «обжиг» с педальным «приводом». Лишь бы «Наклон» не подкачал. А он уж точно не подкачает, ибо во всех полках на боевом дежурстве шесть пусковых установок, у «Наклона» — десять. Если ставить америкосов раком, значит, ставить без всяких прелюдий. Никаких книксенов или чайных церемоний. Иначе какой «Резон» держать в степи такую дивизию? Стратегия!... Хотя были тут уже черти-инструктора. Двухметровые негры из штата Алабама. И всё по тому злосчастному договору о ратификации ядерного оружия, который напоминал сюжет из фильма «Свадьба в Малиновке», где замечательный герой Попандопуло «пилит» награбленное и приговаривает: «Это мне, это мне, это опять мне, а это тебе». Ау! «Актино-о-о-н-н»... Неужели с нами можно вот так? А?!...

Первым полком командовал полковник Касаев. Егор немного представлял, что это за орешек, со слов того же прапорщика Хакимова. Однако слушать рассуждения одного человека о другом, а потом увидеть его в действительности — совершенно разные вещи.

Полковник Касаев появился неожиданно. Если бы Егор встретил его на улице в штатском, ни за что бы не поверил, что перед ним будущий начальник. Скорее электромонтёр из ЖЭУ. Егор заметил ещё одну штуку: Касаев склонял голову к правому плечу, будто решил соответствовать позывному полка — НАКЛОН.

Офицеры на Егора произвели хорошее впечатление. По крайней мере, рвотных рефлексов никто не вызывал. Егор готовился к худшему, как учили на гражданке, мол, армия — сборище дебилов. Никак нет! Обыкновенные люди. И каждый со своими тараканами.

— Равняйсь-ь-ь... Смирна-а-а... Равнение направо-а-а-а...

Замкомандира полка Прощелыга, вытянув морщинистую шею и прижав кулаки к бёдрам, виновато направился к Касаеву.

— Товарищ полковник... — начал он.

— Отставить, — глухо отрезал Касаев. — Спорыш, ты пил вчера? А?

— Никак нет, товарищ полковник!

— Пил... Вижу... А где Ставрогина? Прощелыга, я не понял, где прапорщик Ставрогина?

— После дежурства, товарищ полковник. Наверное, дома...

— Какого ещё дежурства?

— Боевого, — пояснил Прощелыга.

— У кого дома?

— Наверное, у себя.

— А почему я не знаю?

Прощелыга пожал плечами и по-детски улыбнулся. Егор догадался, что сегодня козлом отпущения является подполковник Прощелыга. А возможно, и всегда, и в детективах используют такие ходы: хороший полицейский — плохой полицейский. Армия уважает детективы, особенно ночью на боевом дежурстве. Ведь двенадцатый отсек — это священный телец. И сейф с оружием (пистолеты серии Макаров), и печенье (серии пшеничное), и чай (серии черный цейлонский), и плитка (серии электрическая) — всё находится там. А вот одиннадцатый отсек — это отсек, где аппаратуры больше, чем мыслей, и там твоя судьба обретает «невероятную лёгкость бытия». Транспаранты, кнопки, пульта и щиты. «Средства радиосвязи в режим боевого дежурства!», и — лейтенант бежит, как угорелый. Отбой... Опять команда.... Отбой.... И всё... Счастливый лейтенант — второй номер, опускается в двенадцатый отсек и заваривает чай — серии черный цейлонский — первому номеру, своему командиру. Им, кстати, может оказаться и Прощелыга. Однако самый плохой вариант — это полковник Касаев. Без бутылки он не любит воевать.

— Показать рекзюк и фляжки!

Егор вопросительно смотрит на лейтенанта Спорыша. Тот лишь усмехается:

— Рекзюк — это рюкзак, то есть походный вещевой мешок, а фляжки — флажки управления строем. Он же башкир... Доставай. Всё должно быть по описи. Сечёшь, лейтенант?

— У меня нет ни того, ни другого.

— Тогда вешайся, — безразлично ответил Спорыш.

— Так ведь я не знал.

— Не с-сы, человек! Трогать не станут.... пока. Ты же — девственник.

— Понял, — вздохнул Егор.

Касаев идёт вдоль строя и останавливается против Спорыша. Тот нагло склоняет голову на бок и смотрит немигающим взглядом в глаза своему командиру. Касаев отворачивается и сквозь зубы выдавливает:

— Падла.

Затем смотрит на Егора и спрашивает:

— Пиджак?

— Ну... так точно.

— Так «ну»? Или «так точно»?

— Так точно! — находит нужную фразу Егор и добавляет. — Вливаюсь в коллектив, товарищ полковник!

Касаев хмыкнул и двигается дальше вдоль полка.

— Молоток, — двинул в плечо Спорыш. — Сечешь поляну!

... Конечно, Егор потом узнает о Спорыше некоторые вещи. И почему тот ведёт себя дерзко, и почему в первом полку веселее всех, и почему Касаев не любит Спорыша и свой полк, и за какие такие заслуги Касаев получил должность комполка.... Про таких людей, как Спорыш, говорят: «Ни бога не боится, ни чёрта». Спорыш не снял форму пехотинца, хотя уже два года находился в ракетных войсках. Он не борзее, не скулит и не прячется за чьей-то спиной. Он знает что сказать. Просто не будет говорить, даже себе.

За гарнизонным универмагом «Юбилейный», где дорожка тонет в зелени, Спорыш набил морду Касаеву. Тот шёл за пивом в спортивном костюмчике. Двух-трёх ударов хватило, чтобы голова Касаева склонилась в противоположную сторону и в таком положении держалась несколько дней. Тем вечером отведать пива ему не довелось. Пришлось достать бутылку водки из холодильника и вскрыть банку маринованных помидоров... Теперь Касаев предпочитает

магазин «Звездочка», там кусты коротко подстрижены, там оживлённо и часто военный патруль маячит. Касаев никому про мордобой не рассказывал, однако всё тайное становится явным. Прапорщика Хакимова прижало по малой нужде, а у «Юбилейного» шикарные кусты, можно и по-большому справлять, никто не увидит. Зато Хакимов увидел. Склонённый Касаев и довольный Спорыш, потирающий правый кулак. Хакимов понял, что молчание — золото и поступил мудро: справил нужду и тихонько выбрался из гарнизонных прерий. На следующий день первый полк был в курсе событий. Над Касаевым тихонько посмеивались. Среди коллег Спорыш добавил себе авторитета, но понизил карьерную планку, за которую ухватился Касаев, как тонущий за спасательный круг. Что ж, пехота — царица полей. Да и степей тоже... Хотя Спорыш прав: никогда не позорь форму! Лучше сними. Методично набей морду коллеге. И потом надень. Кто воевал в Чечне, поймёт. Лейтенант Спорыш горел два раза. Третьего не дано....

— Равняйсь-ь-ь-ь.... Смирна-а-а-а... Отставить!...

Замкомандира полка Прощелыга посмотрел на часы. Ещё пара минут и развод закончится. Можно будет покурить. Скоро на боевое дежурство заступает второй дивизион, значит, смену боевых расчетов и караулов проведёт сам Касаев. Расслабляться так расслабляться! В городке у Прощелыги много дел, не мешало бы и на рынок заглянуть. Холодильник пустой. Это хорошо, что второй дивизион заступает на боевое дежурство. Скатертью ему дорога, товарищ полковник! Прощелыга незаметно сплюнул на асфальт и оглянулся. Два чумазных бойца устанавливали красочный транспарант: «Ракетчик, гордись своей службой». По плацу прокатило:

— Управление дивизии — прямо, остальным — направо-о-о-о....

Елена Медведева

Сокращается жизнь на слова



Вот опять летаргия зимы. Остывает земля.
И стеклянные колбы туманов расставлены в парке,
И уходят в архив недописанных писем поля,
И деревья ступают неслышно, как древние Парки.

Но парятся тихонько озерные бронхи земли,
Есть надежда, что снова апрели войдут в материнство.
Если правду сказать, мы немного сделать смогли,
Ведь надежда — еще до конца не обжитая пристань.

Снега затеяли поход, и сердце стынет,
а вечер дарит натюрморт с домбайской дыней.

Да будь хоть с винами поднос — не станет жарче,
струей седеющих волос окно маячит.

Меня пока там, знаю, нет, но если мне бы...
Какой-то женщины портрет струится в небо.

А музыка звучит во мне упрямо
И расставаться с памятью не хочет,
Как вал девятый, исповедь органа
Захлестывает побережье строчек.

Уймись, звуки! Как дожить до марта,
Чтоб талый-талый плыл в закате город,
Над куполом церквушки в небе матовом
Скворцы восторгом полоскали горло?

В домах, расшитых окнами под кафель,
Чтоб вдохновенью отдавали почести!
Но плачет дождь. И снова Бах-ваятель
Волною звуков точит глыбу творчества.

Есть поэты — кухонники,
Их слова напористы,
И разят борщом.
Есть поэты — песенники,
Есть поэты — висельники,
За стихи расплачиваются
Жилой и хрящом.
Есть педанты строгие,
Там уж все с иголки —
Фирма гарантирует
Форму и фасон!
Тем же, кто убогие,
И кто вроде Золушки —
В решете просеивать
Звонкую фасоль.

От сварливой мачехи
 Ни ласки, ни полушки ей,
 А слова-фасолины
 Лишь перетрясти,
 Детскою отрадою,
 Заветною игрушкою
 Зазвучат, как раковина,
 В маленькой горсти.

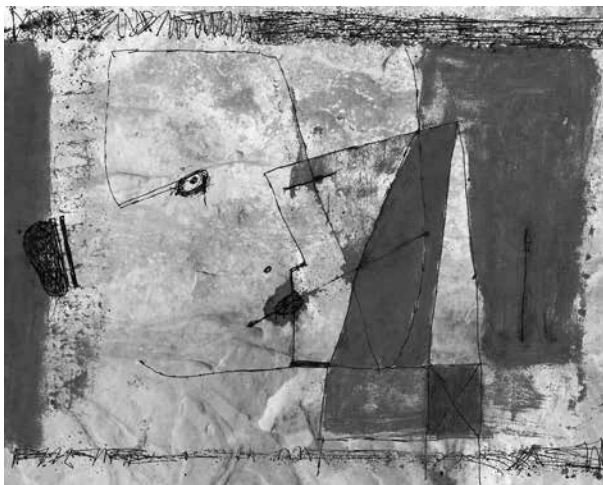
Сокращается жизнь на слова,
 словно нитью кайма,
 в оперении славы то и дело задремлет сова,
 вот у сопок начала
 рычала моя Колыма,
 а теперь тычет носом
 в причал моя Кама.
 Может быть, сокращается жизнь
 измереньем шагов,
 и останется До зачеркнуть
 отрицанием Си.
 ДО-НЕ-СИ меня, жизнь,
 до последней межи,
 где от пашни шагов
 остается со временем шов.
 Если б шов на бумаге,
 чтоб можно воскликнуть «Ага!»,
 если б слово война
 сократилось сознанием вин.
 Никогда обелиск
 не сожмется в понятие «блеск»...

Ангелу

Не покинь меня, мой Ангел, не покинь,
 От вороньего ты грая сохрани.
 У тебя в воротах рая блещет синь,
 А меня пудовой гирей давят дни...
 Научи хранить смирение от зла!
 Как в рождении, прими меня нагой...
 Лишь одну бы нежность я с собой взяла...
 Только что мне делать с грешною строкой?

Кирилл Азерный

Памятники побежденным



Офелия — нет, не с Офелии хотел я начать, не с мутных вод ее девственности и смерти, но не продолжил ли уже, не припустил ли корней, не обнажил ли сути? Или, данное разом, имя это безнадежно уже заключает и безукоризненно являет в себе все, что может быть сказано о нем — о ней, и о нем — тучной туше, сгустившейся над Офелией, чтобы на века, наверняка заретушировать ее и сделать не мертвой (бессмертной), но не бывшей (сменной) — сменные датские чешки, пахнущие изнутри теплой резиной, с трещинами расходящимся жестким дном, с однажды замеченным мной

большим пятном сухой крови, а в руках у меня протекал на пол мешок с ее зимней обувью — бездонной и тяжелой, как дыра и камень у меня на сердце (по каким швам разойдется следующая метафора?).

Гладкое до невидимости полотно Офелиной воды (накрепко сшитой без швов с какой бы то ни было, вероятно, стороны) сжимается до прозрачного стакана с бесчисленными гранями — в него налит негустой земляничный морс, на его поверхности плавает мертвая ягодка, под него положен пластмассовый круглый столик, буфетный, без скатерти (первая увечная трапеза, связанная у меня

с Викой — позже я буду давиться ее салатом: какими средствами человек способен безнадежно испортить салатный лист?). В буфет ведет узкий проем без двери, в нем тайно живет беременная кошка. За дверью, у которой я жду Вику — тяжелой дверью театрального зала — журчит Викин голос, и в нем, непрерывно изменчивом потоке голоса, больше смысла, чем в словах, которых я не разбираю. А вот уже и смех, неотличимый почти от речи. Ее смех.

Вероятно, сбилась на том же месте. К слову, играет Федру. Возможно, оттого и смеется — от себя, или от Федры, или от разительного несоответствия? Или — от жизни. Иногда на льду мне хотелось толкнуть ее — если она упадет, над улицей прозвучит звон сотен колокольчиков (так мне казалось).

Офелию она никогда не играла.

После очередной (километровая советская очередь) репетиции, этой, или любой другой, она брала меня под мою остроугольную руку, и мы шли забирать наши легчающие куртки, но никогда не обходились без гардероба — никогда налегке не покидали надтреснутого, как переваренное яйцо, театрального храма, в котором извечно царило панибратское язычество массовой культуры, в котором толстый молодежавый актер, проходящий по коридору, был способен правдоподобно изобразить мою распадающуюся походку. Крутая скандальная лестница распадалась под нашими ногами, а мы вынуждены были идти с царской непринужденностью, потому что, по мнению Вики, от этого зависело все — и напрасно я, отгорев ею (молниеносное, спичечное озарение), убеждал ее до рассвета в том, что есть огромная пропасть между ее актерской карьерой и нашей любовью, между ее настоящим и нашим будущим.

И Овидия достойна метаморфоза, Кафки достойна внематочная беременность лестницы, трагически разрешающейся светлым, сказочно огромным холлом, с тысячей (и одной) роз повсюду — откуда, скажи мне, в такую зиму, какого волшебного края раковая опухоль был этот храм искусства? Синие, черные, зеленые, фиолетовые, крас-

ные, белые розы, умноженные зеркалами, зеркалами...

И я укутывал Вику в дубленку из песка (крохотный, в сущности, зверек), и мы открывали тяжелую сундучью дверь в мир иной, и Вика щурилась от колючей метели так, как никогда не смогла бы изобразить, например, летом, когда я, скучающий по снежку (а она — по театру), просил ее об этом. Она, щурясь, расплывалась неаккуратной, сорняковой улыбкой — я люблю эту улыбку, Вика, но сейчас мне нужно, чтобы ты сосредоточилась — будь серьезнее, смех — это миллион молодых трещинок, а я хочу сейчас от тебя цельности, абсолютности, снежности, ежика, гладкого от миллиарда (и одной) иголок. Только не умирай больше.

В глубине снежной темноты расцветают розы, тюльпаны и ангелы. Только так удавалось мне вообразить всю любовь, которая окружает Вику — я закрывал глаза, и щедрые пятна цвета обращались цветами, вращались бесконечно, и круг их, становясь сплошным, порождал центр, и центром была черно-белая фотография Вики Лазковой, улыбающейся во весь рот.

Требовалось нечеловеческое усилие воли, чтобы разрушить жанровые рамки портрета и углубить фотографию, зажечь ее изнутри язычком рыжего пламени Викиных волос, добавить пространства и несвежего воздуха, в который периодически врывается холодная струйка, и назвать фотографию: «Вика Лазкова ждет поезда на вокзале» (и огромная галерея с миллионом портретов, пейзажей, натюрмортов и этюдов, от фасадного шедевра — и к выпущенным в прохладную тень ранним наброскам (в которых между неплотно расставленных прутьев вылетала на волю птица гения) — огромная эта галерея составляет Пермь, и всемирно (другой мир) известный Пермский театр теней, и надо всем этим — подпись: «Пермь в ожидании Вики Лазковой»).

Поезд задерживался, и она нервничала — потому что была уже в поезде. Она закусывала рукава крепкими ноготками, обворачивала свою нынешнюю нервозность

видимостью былой, детской (может быть, «детской»: из заемного, может, никогда и не бывшего, детства) раздраженности — оберткой прозрачной, как на дорогих мармеладках.

— I got a bell in my belly, — говорит она тихо, и не различить неправильностей. Я учил ее тогда немного своему английскому.

Я встал тогда с сиденья своего, и начал окутывать ее моим свободным объятием — и медленно, как ветер, обратил на себя ее внимание (улыбнись в объектив одиночной камеры, детка). От нежности я не сообразил английского ответа.

— Моя фамилия — палиндром — говорила она, сохраняя под поцелуями равновесие речи, — палиндром.

— Она и близко не палиндром, Вика.

И с внезапностью смерти мои руки опустились, и я проводил глазом чужой поезд. Перед тем как уйти с вокзала домой, я (как если бы отправлялся) зашел в буфет купить слоеную булочку с брусничным конфитюром, но буфет на моем глазу оброс таким лоском и гляncем, такой шахматной плиткой, такими шведскими сиденьями, такими круглыми грибными столиками, что я взял еще и кофе (черную дыру, жадную до сахара) — и устроился рядом с обладателем газеты, газетой заслонившим лицо.

Я наслаждался легкостью. Смешно подумать, как легко, как зыбко и призрачно все то, что унесла Вика. Кому другому показывает она теперь своих теневого собак, кому вырезает снежинки грубого картонного помола? Как суетен и пуст оказывался многообразный мир ее тоннелей и образов, и само тело ее, вспыхнувшее над миром, а отсюда начинается реальный мир, с растворимого кофе в пластиковом стаканчике (но мне сказали, что он не прост: что он из специального, разлагающегося пластика, и способен стать землей. Какая чушь, боже мой). Простившись с Викой, я не мог ощутить того нескончаемого спуска в бездонную шахту, расцвеченную одним эхом — а значит, и припомнить бесконечности, из которой только что выбрался, которой порожден, и в которую войду, как в темную, сонную воду

(но Вики и там не будет — не будет в стерильном ночном бассейне с большим цветком желтой лампы в центре).

Я отправился домой неожиданным вечером, новым путем, с тягой к мелким приключениям большого города (пошла авантюрная струйка), заблудившимся трамваем, и как если бы был пьян, я без всяких переходов обнаружил в огромном пустом автобусе, в близком соседстве с пьяным бизнесменом в плаще, похожем на халат — он жаловался, что днем у него угнали любимую машину, и спрашивал, не я ли это сделал. Я ответил ему, что у меня нет прав.

— Естественно, — парировал он, выходя на произвольной остановке, — никаких.

Далее шел темный провал нескольких незначительных дней — вот такой легкомысленный прыжок я осуществляю вместо того, чтобы показать вам альбом со своими замечательными фотографиями.

Единственная ценная вещь, которую мы пропустим — ступенька. Позволим себе пропустить ступеньку и упасть в факт, хотя любопытно: что, с какой стороны предшествовало ее возвращению? Мне кажется, я пришел к себе домой, включил свет и обнаружил ее. Что делала она у меня дома, для чего сидела без света? Фантастическое, грубо сварганенное обстоятельство.

Из моих скудных вещей она умудрилась сделать бардак — искала мне куртку? Брюки (кстати сказать, этот черный костюм мне везде жмет, так что постараюсь ускориться)?

— У меня болит всё! — Радостно заявляет она, и это ей нравится. Нравится вырастать из себя, как из рубашки. А от меня требовалось поспевать.

Еще сообщила она о Всеволоде Георгиевиче, пермском знакомстве. Мне причудился карлик, под видом тени скользнувший из комнаты в окно, но не умерший — бессмертный, никогда не умрет... однако я промолчал, давая прыщ ревности.

Далее возникает карлик в ее комнате, которая предстает расширенной, ускоренной версией хаоса, учиненного ею в моей. Вот лежу на расправленной кровати я, поверженный, вот она примеряет перед

зеркалом новый фантик. Вещей вокруг в два раза больше, чем было в моей комнате, и мне ложно казалось, что частично там были и они.

— Гений властвует над хаосом, — сказала она зеркалу, и высунулось два языка. Очень похоже.

Далее случилось действие. В тишину вступил, и без боя взял, с ходу разгоревшийся оркестр. Это звонил Всеволод Георгиевич, и Вика начала на обратной стороне телефонного жетона — специально для меня — пантомиму. Встала на одной ноге, положила ее под тупым углом на тумбочку. Открыла правой рукой зеркальную дверцу шкафа. В комнате стало тесно от отражений, и я закрыл глаза.

Затем она, бросив пассаж, начала новый: дергала туда-сюда карамельную штору, то впуская, то выпуская свет. На том конце провода катились мелкие камушки.

— Да, всево... воло... да, воло... все, — Но на том конце провода катились мелкие камушки.

И тут я представил, что хорошо бы выключить у мира звук. Хорошо бы уметь выключать его. Но тут же (или за секунду до?) я сообразил, что и меня тогда не будет в этой комнате, что телефонный жетон упадет на дно случайной реки — из тех случайных рек, что и ныне держат иллюзию плоского мира: вернуться туда невозможно.

Но неотъемлем телефон в ее пантомиме.

Вика, где мой платок?

— Где мой платок, Вика?, — спросил я ее, и она посмотрела, наконец, на меня. Щедрой рукой она обвела радиус. Так вот — я его, своего платка, так и не нашел. Я его викинул.

Надеюсь, все утраченное дожидается меня в одном месте, и аккуратно сложено.

Вика положила трубку, набрала в грудь воздуха, и начала свою историю.

В сиротском приюте имени Беженского есть молчаливый мальчик по имени Егор. Его, известно, бьют, а лет ему около девяти — без круглой даты. Он время от времени видит в плохо выписанном сне черноволосую девочку, которую первое время (первый

месяц после страшной аварии, отправившей его из больницы прямиком в сиротский приют — небрежной аварии, предполагавшей, но так и не доставившей амнезию) высматривал в столовой и мерцающих от лампочек коридорах, высматривал по ошибке, ибо по странному стечению обстоятельств ее не существовало. По ночам девочка уводила его в приютское подземелье, где с каждым новым сном они углубляли яму, которая должна была привести Егора обратно к его минувшей семье.

Однажды, по внезапно возникшему в уме Егора несоответствию между сном и свалившейся явью, по неправильной резьбе с одной из сторон, стало понятно, что из ямы начал сочиться слабый свет, и про свет тот Егор поведал всем, кому мог, на этом. Не в состоянии осилить одиночества, усугубленного тайной, он бессознательно пытался промокнуть свою повседневность потусторонностью ночи, чтобы получить из этой химии какой угодно результат — терять ему было, в сущности, нечего. С этого места началась его зависимость от не прошедших сертификацию таблеток, еще даже не окрашенных вкусовыми добавками — простого школьного мела, простого древесного угля, разводимого в прозрачном от воды стакане до совершенной молочной белизны. Привычка эта была одобрена веселым молодым человеком, хорошо одетым, приехавшим в приют с лекцией для детей и воспитателей: «Эти дети нам нужны. Общество не отречется от них сейчас, и не отречется впредь. Они не изгой, и не периферийные элементы. Они — наше сердце и наше будущее».

Для детей же, в свою очередь, шел опоздавший на два месяца (шел март) новогодний спектакль: спешащий на утренник Дед Мороз впопыхах задевает мешком за скамейку, и, пока пробегает мимо, подарки успевают все высыпаться из мешка в остроконечный, как легионерская формация, зал.

По мысли Всеволода Георгиевича, за этим представлением должен был следовать настоящий новогодний утренник, но поставленный уже внутренними силами приюта, которыми Всеволод Георгиевич и намере-

вался приют снабдить. Вике предлагалось играть все ключевые женские роли во внутренних спектаклях приюта, а также — значительную административную роль по расширению левой гангрены в самом сердце правого гнездышка («Мое сердце — слева!», голосил рабочий лозунг).

Сугубая, молодая жажда крови примешалась к Викиной любви — к любви всегда аполитичной Вики: открытое место равносильно занесенному ножу. Изящество выдумки Всеволода Георгиевича было тем, что придавало праведный огонь ее желанию вечно участвовать в вечнозеленой кампании по спасению увечного мира. В приюте том черноволосый маленький Егор, вжимая в подушку горячую пощечину, сердцем будет пребывать в сочиненной Викою сказке.

— Только чудо спасет мир и этих детей — говорила она, — Мы должны творить эти чудеса сами.

Соседняя комната взорвалась фейерверком, потом выстрелом, потом — резкой трелью сабельной битвы. Все это сменилось, или стало, музыкой — примитивной, с памятью в три виража, которые, как шарманка, повторялись. Заостряющийся слух разобрал в ней звон посуды.

— Родители явились, — подтвердила Вика. — Время обедать.

К обеду на столе была только скатерть — остальное таил холодильник. Мне было позволено сварить кофе и открыть молоко — из нас четверых с молоком пила только Вика. Слух мой оценил бархатное посвистывание газовой фляжки — хорошая плита, встроенная в кухню, встроенную в дом, встроенный в зеленый холм, в бывшее кладбище.

Отец ее принес домой новые, огромные садовые ножницы, смешной туканьей формы, облокотил их на стену рядом с дверью, и Вика подала салат — единственное, что я попробовал из всего обеда, состоявшего, как я знал, преимущественно из рыбы, аккуратной, с глазами.

Наибольшее любопытство (дальнейшей в иерархии ступенькой было обожание — к Викиным состарившимся от пролитой воды подушечкам пальцев) вызвала ее мама —

на обед она явилась в мужских зеленоватых брюках, через пять минут вышла и вернулась в домашнем пестром платье, еще через десять снова переделалась — в темное платье цвета этакой перемороженной вишни. Она молчала, хотя ела не так много. Платок на ней был постоянно, и обволакивал голову так безупречно, что я усомнился в наличии у нее на голове волос.

Лазков вызвал меня на веранду покурить. Я не курю, но был необходим. С минуту примерно Лазков стоял смирно на пропеченной старой веранде с медузьями, дышащими электричеством, шторками, с бесшумным шмелем меж двух оконных стекол. Он курил так, будто один. На этой земле.

На голове его была зеленая фуражка, доставшаяся ему от Викиного деда, викинутого победившей Россией в урну лагеря, и за возвращением фуражки в семью стояла большая скандинавская легенда — в прямом смысле: всю Скандинавию переплыла она по волнам обрывочных ветров. Время, как известно, щадит никчемные безделушки, и оттого оным придается вес и невесомость языческих лицедеев, обманувших время навсегда.

Эрегированную сигарету Лазков нижними зубами прижимал к верхней губе — первая была скурена в молчании. Началась вторая, и я понял, почему в такую жару Лазков решил надеть еще и пальто: пальто сваливалось с него под весом сокровищ. Но Зачем? Как известно, ни один уважающий смерть дворянин не станет стреляться налегке: обязательно нагромождение обязательств, долгов, одним чудом смерти разрешимых привязанностей, необходимостей, где моя медаль за прошлый год? Деревянный идол плывет по золотой реке восвояси.

То же и с расстрелом. Восточных сладостей того света мало, чтобы перевесить падение гильотины, поэтому на тот свет приговоренный к славе отправляется трамплином — противодействием гильотине прижизненного хлама, который, безусловно, тяжелее гильотины. Лазков стоял, обвешанный этим хламом с головы до пят.

Мне была вручена прекрасно изданная, нестигаемая, как воля Вики, книга его стихов — с росписью на весь титульный лист, с росписью, фамилию заслонившей. Потом Лазков жестом попросил ее обратно — выяснилось, что необходима дата.

— «Паркер» — это маркер. — говорит он. Ставит дату, без точек. — Чернила драгоценны, — берет ручку кончиками пальцев за оба конца. — Деревянная оправа.

Я говорил, что мне ясно.

— Знаете ли вы, как появилась Вика? — спросил он, и в памяти моей нет перехода. Оказывается, даже в нашем недолгом разговоре было место узловатой трещине, сквозь которую бывшее порастает быльём. А иначе бы — что? Идиотическая сохранность, тупая прозрачность безделицы? Случайные крысы бегут с тонущего корабля памяти, а бесценные экзотические звери уходят с ним на дно, держась за руки, и кораллы посвящают им свои дворцы.

— По чистой случайности. По чистейшей случайности, как и все лучшее в этом мире, или любом другом (так же выбранном, вероятно, чисто случайным образом). Я говорю, что жизнь человека начинается с массового убийства. Сколько людей умерло из-за того, что родилась Вика? Сколько вероятностей осталось навсегда за бортом? Этого мы не узнаем — ни в следующей серии, ни в последней.

После этого Лазков сказал мне, что у меня есть возможность уйти. И что я не должен ни пренебрегать ею, ни откладывать уход.

— Вы понимаете, что я хочу сказать? — Я понимал. Я знал, что наверняка в шкафу, сухом и квадратном, у Лазковых висит Костюм, и в костюме — человек, франт во фраке, широкий рояль, для всех ожидаемый, козырной жених.

Но знаете что? Я ушел, и однако Лазков на прощание (вечное, как он, вероятно, рассчитывал) отдал зеленую фуражку, с целями своими — нечленораздельно мычащими, и за поворотом смолкнувшими, немолчующими по сей день.

Немолчующими, как моя боль, и как мертвая курица у меня в тарелке, истерзан-

ная легкой алюминиевой ложкой. И мне кажется, что мой тесный, квадратный Костюмчик ничуть не хуже Костюма, назначенного Вике ее семьей, обреченного Вике ее викториной — обстоятельствами и временем рождения, но в какую секунду после рождения именно заверяется обреченность? В ту же ли, когда и душа? Не болтается ли душа свободно внутри обреченности, не может ли выпасть из нее, как орешек из скорлупы?

Говорят, душа многократна. И что в прозрачности ее не видать личин. Но плотно прилегает к ней плоть, и не разомкнешь замка, а разомкнув, развязав тугой гордиев узел, увидишь — ее уж нет: души.

Когда я говорил ей: насилие убивает суть, все церкви мира берутся силой, но не Бог — я думал о нескончаемых цветах в темной воде, в моих закрытых глазах без души, в мире без чуда, и понимал, что никогда не свершиться этим умозрительностям, всему этому театру теней не вычертить ладони — ни одного пальца, ни одной черточки. Что все это — не то, не о том.

Роль Федры была ею брошена — и большая теперь загадка, вернулась бы она к ней или нет. Щедро скомканных ее набросков хватило бы на целую кукольную коллекцию — каждый огонек ее фантазии зажег какой-то свой костер — все они в своей неизвестности неотличимы друг от друга, а значит, возвращают некоторую (никогда не бывшую) целостность в Викин образ без образца.

Я не знаю, к примеру, чем стала Вика для того хриплого, белокурого, как сигаретная дымка, мальчика из городского лагеря, с которым у меня состоялся однажды диалог. Единственный раз я навестил ее в подобном лагере — обычной ее летней резиденции, и у меня сложилось превратное впечатление: единственный ее ребенок ревел ревом в узком дворике, заключавшем крохотную стоянку, размеров которой с лихвой хватало карликовому грузовику, принадлежавшему, вероятно, единственному охраннику, жившему (вероятно), безвылазно в мгновенно, как от инфаркта, мертвеем лагерном дому без иного назначения, в сентябре, октябре, марте.

Вокруг отставшего от стада животного формируется пространство, глухое к бегу, всегда бывшее к нему глухим, и организует его головокружительная картина — семь тысяч верст висит на одной стреле, и кто-то должен увидеть ее: ее видит из пыли подбитая птица, или коченеющая антилопа, или тьма птиц, тьма антилоп, оставленных позади.

— Она любит меня меньше всех, — сказал он, уже без слез, с твердой уверенностью. Я сказал ему первое, что пришло в голову: и это уже немало.

Появилась Вика, отправившаяся на поиск своего мальчика. Мы обнялись с ней братски, а белокурый мальчик был этим объятиям и зрителем, и сердцем. Издалека в узкий дворик до нас доходил рокот детского хора, организованного одной только дальностью — но организованного накрепко, навеки. Хриплый мальчик легко взобрался ко мне на плечо, обхватив шею.

— Поладили, я вижу, — в Вике уже чувствовалось нетерпение, — Игорь, слезай, у меня к нему дело.

Игорь откликнулся медленно, как если бы возвращался именем из небытия. Или как если бы имя было не его, и ему пришлось сперва узнать себя в чужих, всегда стыдных брюках.

Он, впрочем, сполз — так же легко, как забрался. Мы с ним попрощались без рукопожатий.

За поворотом располагалась замеченная мною многоугольная веранда, грубо сварганенная, шершавая. Она относилась к реальному — внелагерному — миру, и пахла мочой. Там я, как мог, освободил ее от пестрой, мальчишеской формы вожатой, при этом плотнее заворачивая в мою серую куртку. Посредине беседки имелся столик, который, как сын, повторял беседкину форму, и мы расположились на нем без всякой (по ее горячему настоянию) скатерти, прямо на странных грибах, лопавшихся пыльной зеленью. Она лохматила мои огромные выпадающие волосы, и ей нравилось ощущение под локтями надежного дуба, успокаивающая теплота кровяных лужиц под

ними (не в первый и не в последний раз Вика предстала мне многорукой).

В какой-то момент, охваченная внутренним огнем, веранда перестала существовать, и я обнаружил себя посреди леса, расширяющегося сердечными пульсирующими рывками. Огромный — смотрите — лес, хвойный и лиственный, но, в основном, хвойный. Огромная тишина — непобедимая.

Ни одного цветка. Одна сплошная поверхность, расширяющаяся, становящаяся все более гладкой от бесконечно умножающихся деревьев. Но — ни одного зеркала, ни одной капли воды, без всякого обмана. Такова была и поверхность Викиного тела — слепого, случайного, необходимого...

И мне теперь кажется, что по каким-то внутренним законам появилась на ее груди ранка, с которой она была однажды найдена в случайном совершенстве своей с первого раза сыгранной смерти — как изнутри тишины произрастает трещина звука — сломавшейся ветки, камнем упавшей птицы (легкое, как пемза, слово камень), не оставившей кругов.

Передайте мне рюмку для новой речи.

Я помню, как мы с Викой однажды не без элемента случайности (кинотеатр со старым фон Терьером оказался закрыт на генеральную уборку, и Вика, нетрезвая, огорченная, с усиленной отчетливостью ступающая словными каблучками по новенькому мартовскому асфальту, требовала эквивалента) снизились до адового филиала нашей земной провинции: выставка авангардного естества, прокуренная насквозь одним, одним сквозняком, курированная Беженским. Наркоманские фотографии: рука, река (вена), иголка, алая вышивка вокруг черного венозного зрачка, черный женский силуэт на фоне ультрафиолетового лесного пейзажа. Обтянутый скелет (белое на черном), капюшонный гном (черное на белом). Группа молодых людей с футболками Беженского на телах, объединенных врожденным уродством родственности (о, этот маленький мир) — слонялись, задевали экспонаты, не слушали экскурсовода (школьный учитель геометрии), игнорировали просьбы перестать материться.

Мы, как Сенека с женой, разошлись по разным комнатам. Вот, например, экспозиция «комната наркомана». Пустая коробочка из-под чая «Лисма», маленький выпуклый телевизор, кровать, кружка, столик. Все — бумажное, вырезано сиротами в приюте имени Беженского. Деньги за билет на выставку пойдут прямиком в приют — в приюте теперь дефицит бумаги. Рисовать примутся тут же — прямиком на деньгах.

Вика же подвергалась пыткам в комнате кривых зеркал, куда к тому же каким-то темным чудом забежала беловолосая девочка трех лет, звавшая маму по имени (неразборчивому). Вика искала ее, пряча свой страх в одном из зеркал, как вдруг очутилась вне лабиринта, в общей комнате, и какой-то толстый силуэт заслонил вход в лабиринт навсегда.

Вика шагнула мне навстречу, и, ускользнув от моего шага, как от постороннего, присоединилась к внезапно образовавшейся группке подруг. Я старался тоже не смотреть в ее сторону.

В одиночестве своем я примкнул к коллективу молодых людей, но на мне не было футболки Беженского, так что сперва они относились ко мне ханжески. Я не обижался, и через несколько минут мы нашли общие сферы (роль сыграли мои длинные извилистые руки, и, вероятно, глаз).

Я выяснил, что они — лесорубы, и что знают про то, как летят щепки. Мне они пытались объяснить нормальность этого процесса. Простая физика топора и дерева. Ничего не зная об этом, я старался помалкивать, и, помалкивая, слушать. Они, впрочем, были не дураки и сменили быстренько тему, рассказав мне мимоходом о смерти молодого преуспевшего артиста страны (страну не назвали), случившейся полчаса назад. Полчаса назад они были здесь, я их видел и избегал, но позже информация подтвердилась. Мелькнувшая у меня мистическая догадка завершилась восхитительно и банально, с двойной радостью узнавания: я осознал, что являюсь в одно и то же время единственным (пускай косвенным) свидетелем преступления, и в то же самое вре-

мя — единственным человеком, способным подтвердить алиби. Я сделал все, чтобы сохранить честность — промолчал, будто и не было никогда преуспевшего артиста страны.

Печальный идиотизм в том, что именно в таком виде — в футболках с эмблемой Беженского, эта группа юнцов была найдена и арестована. Им в вину вменялось убийство Вики Лазковой, убийство молниеносное и совершенное — одним острым ударом в сердце, на улице Марго, где Вика обычно никогда не ходит, в длинном сиреновом платье, что уж абсолютно нелепо при ее вечнозеленой остроугольности. «Вы спутали ее с кем-то» — говорила полицейским ее (в самом деле лысая, как Викина блестящая коленка) мама, «Вы спутали ее с кем-то», — говорили полицейские юнцам. Обе реплики остались без ответа.

Я их, между прочим, помню.

Я помню майский день — топленный, пухастый, злой. Майский день некоего года, дети бесшумно, как воробы, топили себя в теплых тополиных сугробах, в горячем окне университетской аудитории. Завораживающая экзаменационная пыль. Я пытаюсь сдать экзамен по медицине — мучась над билетом «Женская половая система», я закручиваю чудовищные виражи, пытаюсь карандашом вообразить лоно, меня породившее. С тем вместе нарастало и желание, и в конце тупость совсем летнего солнечного киселя, в котором уже ничего не плавало, но все им было, совместились с тупостью палки. Не соображая уже ничего особенно, я увидел только большого шмеля в геометрическом углу потолка, и услышал его, и, когда услышал, тишина перестала звенеть.

Освободившись временно от экзамена, зажатый в тиски определенности, равной вопросу, я спустился в прохладную галерею репродукций. Поверхностным туристом миновав длинный, тесный и безобразный, как мастерская, зал галереи, я вышел с другой стороны — в еще более узкий переулок. Справа от меня стрекотал затекший танк — заблудившийся танк, слепо прущий вперед по фантикам, стеклам, тупым сытым голубям.

Но, стоило мне выйти на открытую местность (всю эту площадь с лесами знамен), как хлынул, омыв меня, поток юности. Кажется, Вика была в этом потоке, но я не уверен в этом.

Я подумал тогда о том, сколько людей девятого мая отравились водкой, и как трудно бесконечными репетициями состоявшейся победы смыть чей-нибудь естественный позор. Бесконечными репетициями, до прозрачной чистоты, полируется воспоминание, а через полтора месяца начинается война — вступает таким же огромным оркестром, и страшно звенит тишиной, как южная сувенирная лавка.

Огромный костер юности глушит собой движение железа — собственный механизм, свои шестеренки, и четное число у этих цветов жизни, когда они умножаются друг в друге, и кровью сворачиваются в одну-единственную маленькую розу, неотменимую, несмываемую вовеки.

Окольными окопами, никогда не хоженными ранее пустыми тропинками, я пробирался домой, но встретил на своем пути нарядного ветерана, в этих нехоженных тропках заблудившегося. Он нес домой душистую булку из магазина без вывески, и жил, вероятно, неподалеку, но рефлекс сломался, и, в отсутствие твердой земли и памяти, ветеран озибался, не узнавая. Мне предстояло отвести его домой.

Вариантов было не так много — вокруг нас стояло четыре четырехэтажных дома. В одном из них. Я зашли в один из них и воспользовались недовольным лифтом, выпустившим нас на третьем этаже. Я постучал в первую попавшуюся дверь, и нам открыла женщина в синем халате, некогда красивая.

— Входите, пожалуйста, — сказала она — кладите хлебушек, сейчас заварю чаю.

Мы уселись друг напротив друга в тесной треугольной кухне со странной механической цаплей на голом столе. Хозяйка ушла, вероятно, переодеться, и я обнаружил в уголке кухни маленькую дверь на балкон, снабженный лестницей. Попрощавшись с ветераном приветливым жестом (он был глух), я тихонько вышел на балкон и спу-

стился вниз, внезапно узнав местность, добавив к наброску запутавшийся в проводах сдувающийся воздушный шарик — всё так: ничего не упущено, все на месте, дом за углом, просто другим.

Однако перед дверью дома я обнаружил, что ключа нет. Из кармана моего он падал на медленную тропинку, по которой я вел ветерана, оттуда — в безнадежный котел парада, уже безвозвратно переплавляясь в холодный металл ожившего железа.

Тогда я отправился ближайший парк, на ближайшие качели, и устроился на них — состоящих из черной шины, привязанной канатиками к металлической трубе. Детская площадка была совершенно пуста, грузовик и совок в твердой после дождика песочнице были ничьи. Вики еще не было.

Но теперь она есть и там — в том дне, в той толпе, и — вне толпы, рядом со мной, в тишине качелей, в твердом мертвом песочке. Совершенен иностранный язык, на котором она говорит, и еще местами снежная ленивая весна с ее недавним солнышком. И уже набухает опушка у леса, имя которому — город. Деревья начинают укрывать в себе возвращающихся птиц.

Американцы говорили так: «Казалось, что сами деревья стреляют по нам». Американцы говорили от лица одинокого хромого генерала, без вести пропавшего на Брайтон-Бич одной недавней ночью, когда солнце, впервые по-летнему, разгребало у нас зимний мусор, обнажало землю, которая, конечно, не была гладкой, но пестрела мусором иным — земле обреченном — она и круглой, может, не была, и, однако, одинаково далеки от истины палач и жертва, палачи и жертвы — и, вместе с тем, в миллионе отражений не сойдутся они между собой и не станут вровень, а вместо этого стремительно удаляющийся поезд растворится в тихом, темном тоннеле, и из невероятной, никогда не бывшей, точки зрения, будет видна одна только непостижимая пропасть, одна только рана — беспричинная и в своей беспричинности страшная, как детская рана, и не покоиться ей никогда шрамом на вечнозеленой земле.

А еще эта наша земля, в которую, кажется порою, не полегли — но какую порою, не подобной ли, весенней, душистой, как само забвение? Мне тоже кажется, что не полегла — но, может быть, стала ею, не переставая быть и собой, и, может быть, никогда не переставала ею быть?

Смотри, как после дождя тяжелеет жизнью почва, и как грибами растут огромные деревья, проникая в тебя миллионами ветвей и сквозь тебя укореняясь в почве. Ты видишь, как в листве теряется уже ствол, и не видно, где сидит фазан, и меркнет свет, и не видно, и не слышно больше дома — ни отца, ни матери, и не чувствуешь ног, вросших в землю. Ты делаешь тогда журавля — из ничего, из бумаги, и он вылетает у тебя из рук, которых больше нет.

Зане, я занят метаморфозой: есть Хиросима, и нет Хиросимы...

Таков конспект вводной лекции по истории, но кто в самом деле занят этой метаморфозой? Некому помнить, но некому и забыть: глупые руки мои и губы не умеют забывать. И глупое тело мое повинуется и не заметит, как отправится за Викой туда, где ей теперешнее место. Замечу ли я разницу? — спросит меня флегматичный психоаналитик, сидящий передо мной. А я спрошу его две вещи: откуда он, и какое на нем сегодня пальто.

Главное — не теряться, не отвлекаться на пустяки, не мешкать. Правда в том, что ни одна из ролей Вики не была доведена до постановки. В том, что она не научилась ровно стоять на лыжах, брать октаву у пианино, танцевать венский вальс без механической жесткости, играть на гитаре про золотой город без сбивок на несуществующий, но повторяющийся восточный мотивчик, готовить салат из листьев салата, выращивать лимоны, разводить землероек, говорить по-английски, немецки и португальски, фотографировать с близкого расстояния белок и голубей, печь хлеб с изюмом, завязывать шнурки пиратским узлом, лечиться народными средствами от приступов пиелонефрита (первое средство — пропасть на неделю без вести, чтобы «не

выказывать слабость»), рисовать деревья, вырезать из дерева игрушечный домик, вырезать для него деревянную канарейку, залезать с головой в прорубь, любить человека. И — в совершенной красоте ее ухода, подготовленного всеми несовершенствами ее отражений.

В темноте своей ночи я возвращаю ее, живую, на место, и, когда она возвращается, я не могу сказать точно, где мы: у нее ли дома или у меня? Один бардак, и говорят, мы — в центре. Но мне некого спросить, действительно ли это так. Ведь если так, то отчего я прибит гвоздем к сему моменту, которого не вижу, и не могу викинуть из головы...

Я возвращаю ее силой своей слабости и страсти, она возвращается на самой грани моей способности к воображению. Каждый раз Вика забирает с собой часть меня туда, куда не доплывет мой глаз. Но если не доплывет, откуда мне знать, что она там, и что это она, а не другая?

Она исчезает и дается разом — без предисловий, источников и оговорок, и исчезает туда, откуда ее не вызволишь. Не вызволишь из лагерной тиши, из проруби, из толпы людей. Не вызволишь и из гроба, разобранного на деревья, потому что и там ее нет, и люди из самых разных стран оказываются свободны: они расходятся по аэропортам, портам и вокзалам, или по домам — случайные люди, как бывает в сновидениях. То есть, я хочу сказать, подождите, не расходитесь далеко: поминки еще настанут, скоро, нужно только прогнать пару раз, и можно будет... да, я знаю неплохой отель недалеко от кладбища, где вы все могли бы пока что заночевать. Спасибо вам огромное за понимание.

Понимаете, я теперь уже сомневаюсь. Я не могу ответить, помню ли я их — тех молодых юнцов в той толпе девятого мая некоего года? Напрягаю память, изо всех сил, но не могу сказать. В том смысле, что не могу взять на себя такую ответственность, извините.

Как и Виду, впрочем. Погодите ставить крест на теории заговора: быть может, все

они — и юнцы, и Вика, в самом деле в тот день были в другом месте, может быть, вам нужен другой свидетель. Допросите беспристрастно Всеволода Георгиевича Волосцова — он настойчиво проживает в Перми, возглавляет театральный кружок при средней школе, донашивает за худеньким братом из Москвы лопающиеся костюмы. Все его жизненные соки с ранних лет затачивались под единственную задачу — трахнуть молодую женщину по имени Вика Лазкова. Правдоподобна ли для вас подобная версия? Складывается ли картинка?

Лесорубы Беженского же, между делом, оказались и наркоманами. При этом я предлагаю вам сперва расследовать связь Беженского с наркоторговцами, и, когда вы выясните, что Беженский тратит все городские ресурсы опиума на поддержание жизни в своем парализованном болью брате, вы посадите его на две недели, но продвинетесь ли дальше в своих вопросах?

Это совершенный хаос, Вика. Где гений, который властвует над ним?

Может быть, та, другая? Стало быть, другая — эта, Вика моих страниц, моих фантазий, узница моего глаза, причина моей речи — и жизни, стало быть. Ресница в моем глазу, синица в моей руке (бревно и журавль соответственно). Скажи мне тогда, как тебя зовут — я уверен, что я узнаю, мне должно быть смутно знакомо твое новое имя. И еще — мне теперь точно нужно знать, где мы, потому что я хочу остаться. Остаться для тебя, а не для себя, продолжить тебя, а не себя. До себя мне на самом деле никогда не было особенного дела.

Одним майским днем я спрыгнул с качелей. Удивительна буквальность этого действия — черствым задом я ощутил обретенную легкость качелей, и собственную. Я сорвался напрямик за город — с живой деловитостью, довольный собой. Чудесным

образом я был перенесен к опушке леса, имя которому — лес. На опушке леса со смешной значительностью обедали люди — все из них были пьяны, кроме ребенка. Я отошел подальше от них и вошел в деревья, которые с интересом обступили и оглядывали меня, пока я не решил — к черту эти обезьяньи метафоры, деревья не обступают и не испытывают интереса к чему бы то ни было. Они никогда не исчезнут отсюда.

Меня привлекло именно это, или что-то другое? Может быть, и это тоже. Как бы то ни было, я разделся догола и встал рядом с одним из них, что означало — посреди всего: не было краев у этого леса, и всюду была одна середина. Пальцами и длинными ногтями на ногах я впился в землю, и земля вздулась под моими ногами. Потом пришел тот ребенок, о котором я говорил.

Ребенок был девочкой с черными волосами, зелеными глазами. Она встала на носочки и привязала мне на указательный палец белый платочек без надписи. Потом отломила мне мизинец и побежала прочь, не узнавая крови. Мизинцем она размахивала всю долгую тропинку, как трофеем. Этот эпизод, успевший разрастись в целую вселенную с миллиардом подробных звезд, моими стараниями сохранил простую изящную форму прикладного сосуда жизни, бесконечного и пустого. Это — моя главная заслуга.

Потом я ослеп. Мой глаз бы проколот ножом для резки колбасы, вошедшим одним кончиком. После этого время закончилось, и началась вечность. Островки в ней быстро тонули, как будто их никогда не было. Подростки навели меня и вырезали на животе сердце. Потом приехали спортсмены с сильными руками, и каждый бросил в меня ножик: треть, середина, рукоять.

Никто из них не способен убить меня, потому что они не знают, где у меня сердце.

Кассиус Нокдаун

Вендетта супермаркету

Предуведомление I

«Вещь» не раз обращалась к наследию пермской арт-группировки «ОДЕКАЛ». До недавнего времени это художественное объединение никак себя не проявляло в публичном пространстве (в том числе, отсутствовало в социальных сетях), предпочитая методы партизанского распространения собственных текстов и прочей арт-продукции. Однако в июле этого года появился блог «ОДЕКАЛ СС» (<http://odekalss.livejournal.com/>), в котором выкладываются тексты, фото- и видеоотчеты выставок и акций «ОДЕКАЛа». Осенью пермский «ОДЕКАЛ» принял участие в выставке «Ура, Урал!» (Екатеринбург, 26.09 – 20.10.2013).

Учитывая вышесказанное, редакция решила объединить наследие арт-группировки в рубрику «Архив «ОДЕКАЛа». Начинаем с «одекаловских» текстов Кассиуса Нокдауна. Поэт, художник-примитивист, литератор рассказывает о себе так (здесь и далее – авторская пунктуация и орфография): «Кассиус Нокдаун развивал идеи, мотивы и темы трикстерства, эстетике отсутствия, наобумизма, пансексуализма, абсурдосимволизма, лавкрафтианы и мюнхаузиады. Глубоко занимается метафизикой ничевсёчества. Является создателем метафизической теории дадао (дададзен), воплощением коих являются многие его тексты».

Редакция

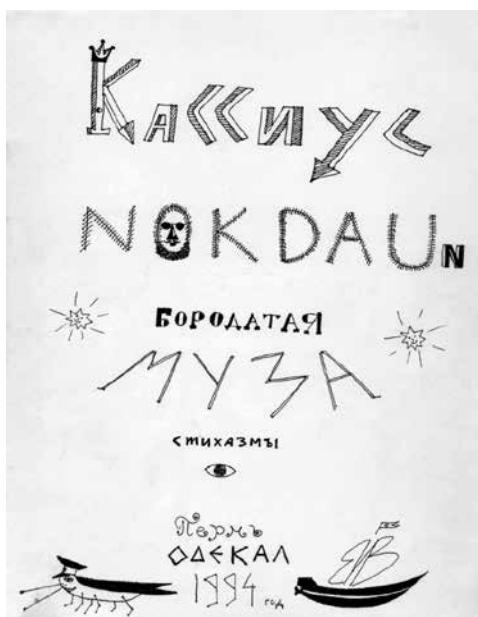
Предуведомление II

Про неизвестного в Серебряном веке поэта Рюрика Ивнева его товарищ Вадим Шершневич написал «блуждающая почка имажинизма». Кассиуса Нокдауна называют «блуждающей почкой «ОДЕКАЛа». Он то бурно прыгает, то с проклятиями отмыкает, то заявляет себя единственным носителем истинного одекализма. В его творческой натуре сосуществуют враждебные друг другу личности. Не человек-монада, а целый монадо-комплекс (по терминологии философа позднего патафизизма Семена Соснина). Одновременно наш герой может сочинять и газетно-патриотические памфлеты, и восточно-мудрёные трактаты, и клонированные декадентские красотости, и удивительные острые метафоры. Не по годам энергичный, увлекающийся, легко переходящий в спорах на самые высокие ноты, он искренне пытается сохранить при этом мудрое спокойствие Дао. Ничего не выходит. Точнее, выходит Ничево. В полёте от одной крайности к другой нередко рождается творь самой высокой пробы. Образцы которой перед вами.

Сергей Сигерсон

**ИЗ КНИГИ «БОРОДАТАЯ МУЗА»
(1994)**

веда тюбик лапу кол
латы дубля антрекот
аще выдубил скажу
и на кожу положу
кабы вотума заметь
тото водана усмерть
кабы боталось бачка
тото бантиком скачка
во де фатума суспесь
фантик выразился днесь
коли днище не в укор
то и тюбик лапу кол



задумчивая верёвка
лежала на дороге
и както очень ловко
дёргала за ноги
задумчивых прохожих
на птиц весьма похожих
кажется ворон

мне дождильно моросильно
мне умчально листопадно
утомлённо непосильно
и заманчиво неладно
я фиалково плакучий
обездоленный раздольно
я листок липучей тучи
с небом слипшейся невольно
журавельно лебединый
соловьино улетальный
я уже необозримый
хрусталевиц зазеркальный

кто-то было лопухом
наверху сидела тут
зеленея близко там
отдаваясь быку
что слепня смывал в реке
а река текла в носу
великана на горе
а гора была луной
но сегодня день весь день
а луна была мешком
задремавшим на плетень
а плетень был унесён
ураганом во китаи
но и там растёт лопух
это ты товарищ знай

объявляю я вендетту
этому супермаркету
он забрал мою монету
жалко мне её поэту

поедем в рим
 в костях карет
 поговорим
 кастэт а тэт
 в гостях у папы
 согреем лапы
 кардиналы через лупы
 глянут в русские тулупы
 где там русская душа
 и увидят ппш

морозная бабочка утра
вломила в прогорклые рты
деревья в занозистой пудре
плывут на ладье немоты
и катится хрусткий трамвайчик
в опрятную белую даль
и дыма задумчивый зайчик
туманит небесный грааль
печатают ровно сапожки
стучит ледяной костыль
и брякают льдышки как брошки
где снежный сгребают утиль



нитями тоски прошиты глаза
 ты блуждаешь
 эхо в лабиринте
 кто качает звезду в лыбели
 кого так жарко целуеточь
 звенит и звенит стрела безсонницы
 вон облако
 это и есть любовь

ты со мной натянутая тетива
повернула каменный барельеф лица
безчувственная нежность

буян баян баюн гамаюннн
лампада ламбада ладаннн
трепет стрибожьих страстных струнн
паллада пагода лада
лель улялюм ариэль леммм
зов мазох хайнлайннн
хенде хох гауляйтер кох
лапоть ладога лабать

ИЗ КНИГИ «СЕРЫЙ КВАДРАТ» (1994)

целуя дерево печали
рассмейся дробью нецветной
и летаргическое чадо
неси безтрепетной прямой
туда где зреет удивленье
воздушным плодом без ветвей
сними его духотворенье
и в грань хрустальную одень

твёрдым облаком штиблет
закуси глоток пинка
на порхающий банкет
положи печаль белка
положительно не дуб
на сосок слегка подуй
и поэмы фирдоус
закрути как сабантуй

Грассиус Мозоран



то недурственно заметь
поделить себя на треть
сердца горестный помёт
сладку ниточку сотрёт

гаркнул лестницей вертикали
журавли на мне не лежали
а ходили одне осьминоги
лишь на дне они недотроги
потерял их полька коперник
звездофаг нострадам затворник
и теперь на печи он плачет
и сверчком на свечи он скачет
обращается полька к богу
без ноги я дай осьминогу
только бог из далёкой дали
гаркнул лестницей вертикали
осьминоги по мне не ходили
а летали журавлики всё же
и безстыдные звёзды ловили
на журавликов это похоже
тут коперник совсем нострадамшись
и в затворе двери испугавшись
завопил безконечное ложе

к липе прилипли руки мои
и кишки мои к ней прилипли
кто-то на них посыпал муки
и намотал их на грабли
и стал есть
и пел поваренную песнь
про соус божественный модус
и летал голубоглазый укус
и норовил сделать мне норку
обнажая зубов заборку
и я вспомнил гарсиа лорку
мёртвого кузнечика
которого сняли и сбросили с плечиков
и звенит он давно не здесь

серебристым завываньем
птица целости летит
и её безпутным знаньем
проводит аппетит
фантастические тени
на планете пень растут
и охотник за твореньем
кот музыка тут как тут
от бездонной сигареты
закипает голова
и творения стилеты
оперируют слова
оживает нежилое
убегает из углов
и безмерною свечою
я глядит из всех миров

ты живёшь печалью смуглой
листья сбрасывая в чай
я живу кипучим углем
безоглядно брея час
ты уходишь безталанно
на свечу надев ладонь
я на ветер хулиганский

сел жуанисто как дон
ты считаешь и считаешь
волоски на голове
не подавишься китаем
там умрёшь плечом в кювет



ИЗ КНИГИ «МОЛИТВ ВЕНИК» (1995)

хаос это броун
дядюшка такой
он не знает брода
умный бородой
так она клокочет
ключьями трясёт
что моя не хочет
всё равно поёт

плачут монстры
воют карлы
в юбках острых
пляшут карты

курам на смех
орам в уши
снобам насмерть
шурф пуруше

солировало сало
сидели пиджаки
мне чтото в глаз попало
я вышел в сундуки
за мной скакала песня
но пёс её сожрал
недаром так чудесно
он выл и танцевал

ничего никого имею
потому ничто узнаю
дорогой открыватель америк
я тебя ничем застрелю
выпив ночь из хрустальной дырки
я целую любовницу тень
стынут ровно чугунные гири
человеческих тел

железо нюхает монокли
свисают уши в облака
на лисапедах едут вопли
в канаве хлюпает тоска
пружинкой скачет треволнение
дождит распухшее лицо
живите мирные селенья
крестьянин будет холодцом

цыцари не ведают урюка
укокошко светится недолго
пламенный привет ему из гроба
в ленинграде нету петербурга
земляником гоголь подавился
уступайте меццо старушонке
песня остаётся с велотрэкком
выключайте тюк ходя из дома

не поймал я ничего
в этом вся есть суп
оттого я ничевок
значит конский круп
значит бобик сохрани
лирный перегной
я наверно не парни
но парник грибной



ИЗ КНИГИ «КЛАССИКИ И ТРУСИКИ» (1996)

на смерть барона вильгельма де омангельды

ода

куда куда вы удаль лили
престал слагать мол перепилит
не ждёт поэта звонкий стих
но ждёт котлета брачный стикс

мой гниений

о помесь сыра ты сильнее
рассоло прозвучаль отрывки
и часто затхлостью своей
меня в страницах ловишь книжки
я помню волос макарон
в них очи смутно голубые
я помню ушки заливные
того не ел одекалон
тот из пастушки несравненный
я помню суп весьма простой
и запах трусиков отменный
повсюду странствует со мной

чудный пот порой прольётся
из летучих кабаков
но лишь пётр его коснётся
он исчезнет без следов
так мгновенные кривлянья
эстетической мечты
исчезают от лизанья
вечно пьяной пустоты

вечор сияла на ублюде
златога ужина звездок
вот дельфиг прыгал на посуде
а кюхельбрюкер никогда
он поперчил мои перчатки
бока шампанина разбил
тут пестель выставил свинчатки
своих очей и нас убил

нет я не краник я другой
ещё неведомый предбанник
как он ранимый псами ватник
но только трусиком душой
я раньше пачкал кончу ранец
мой ум щекотками прошит
в ушах моих как бы в нирванне
гусям окрошку ворошит
кто может окорок угрюмый
твои изведать тайны кто
столбам мои расскажет чумы
я или крюк или ничто

я пришёл к тебе с кастэтом
распознать где хлеб и сало
но горячею котлетой
ты меня поцеловала
тут папаша твой проснулся
весь проснулся ломом каждым
каждой вилой встрепенулся
и отмщенья полон сажей
на меня упал как ящик
с овощами всё такое
но я выскользнул кричаще
и как холмс ушёл в помои

ИЗ КНИГИ «СКРЕПКА СТРАДИВАРИ» (1997)

оспины жужжат и жалами грозят
за самоваром сидит толстая кладбища
из норки выглядывает зять
соплята снуют пищу ища
над дырвей в высоких дырвях
звон плутает пицц
огромная тень поверья
бредёт средь пшеничных спиц
воздух полон перепёлками слов
я охочусь с двустволкою снов

я косил траву
а она меня
и бросал в неву
а она меня
там где город пермь
там живет нева
в форме буквы ерь
и кричит виват

хрипотам

я хрипотам
я живу в лесу моих рук
далайрамы молятся за меня
створок губами хлопая
у меня есть храпа и храма
я не бедный сиропка
храпенькин я сынок
о как я люблю моего храпу
о как я обожаю мою храму

каждый день я кушаю хромовые пироги
не потому ли я такой храпрец

надпись персидского кота дария

я вломился к гражданину кашкину
я к кашкину вломился в живот
я ограбил его внутренности
я покори́л его сердце и лёгкие
я поразил циррозой его печень
я достал из его почек драгоценные камни
я выпустил на волю его мочево́й пузырь
я обратил в рабство его железы внутренней
секреции
я настиг торговые караваны в его пищеводе
я разорил его желудок
я поставил крепость в его заднем проходе
я загородил его горло китайской стеной
я выполнил волю бога моего мардука

пермь рожала стоя на боку
вертелся флюгер башенного крана
сидели старухи на моем веку
мечеть стреляла из корана
прогуливались крысы в задних дворах
трамваи стучали по рельсам колоссами
в небе пьяно дрались пыль и прах
бежали за пивом медведи опоссумы
фонарь показывал лунный кулак
бледным велосипедикам на шоссе
пропадающем
пирамидальный тополь как остряк
махал девицей в жаре увядающей
клянчи́ло клянчи́ло клянчи́ло стекло
называло себя хрусталом
над офисом кибернатора флаг как трепло
болтал и болтал трехцветным языком
угрозы краснели на прямоугольных газонах
бреет ли бреет ли там пчела
мероприятно фонтан обливал пижонов
и облака отражала банковская скала

Анна Бердичевская

Ирина Христюлова и ее «Дворянское гнездо»



Ирина Христюлова — известная пермская писательница, автор книг для детей «Загадочная личность», «Колокольчики мои», «Топало». В октябре Ирина Петровна отметила семидесятилетие. По просьбе редакции Анна Бердичевская написала воспоминания о жизни Ирины Христюловой, эпохе шестидесятых — семидесятых и ближайшем окружении писательницы, в который входили Алексей Решетов, Лев Давыдычев, Виктор Болотов, Борис и Надежда Гашевы, Владимир Михайлюк, Роберт Белов и многие другие.

Цена — бесценная

Должна предупредить, вы читаете записки по памяти, они не основаны ни на каких документах, кроме одного, хранящегося в красной дерматиновой папке, когда-то служившей, похоже, футляром к почетной грамоте или не менее почетному диплому советской поры.

И где они теперь? Никто не вспомнит...

Очень, очень давно в папочке обитает вручную прошитая белым шелковым шнурком стопка листиков с текстом, отпечатанным на машинке, и с фотоколлажами в качестве иллюстраций.

Хотя мои записки повествуют не об этом уникальном издании, а о его авторе Ирине Петровне Христолюбовой, я подробно его опишу. Потому что Ирина это самое «Дворянское гнездо» не только написала, она **свила** его. Для всех для нас... Для тех, кто вошел в Ирину-но сочинение или не вошел в него, но в гнезде — жил-был. Это надо понять.

Так что мои записки без красной папки и прошнурованной стопки бумаги не обойдутся никак.

Вот папка передо мной, открываю. На титульном листе рукописи старательной рукой, почти готическим шрифтом, черной тушью и красной шариковой авторучкой, крупно и с виньетками выведено название:

Дворянское гнездо

Далее изображен герб с королевской лилией, скрещенными шпагами и двумя масками — смеющейся и печальной.

А в самом низу титула написано:

Юбилейное издание, посвященное 50-летию дворянина Михайлюка В. М.

Кто придумал, кто нарисовал и когда? Кто шнурочком сшил?..

Писатель Владимир Максимович Михайлюк 20 апреля 2013-го встретил свое восьмидесятилетие, стало быть, рукописи тридцать лет...

Да собственно — чего подсчитывать, в солидном издании есть выходные данные, и можно прочесть:

Автор И. Христолюбова

Редактор Н. Гашева

Художник О. Решетова

Рецензент Г. Мещеряков

Ответственный за выпуск А. Решетов

Сдано в набор 1973 г., подписано в печать 1883 г. 20/VI.

Печать высочайшая

Тираж — 1 экз. Цена — бесценная

Всё это правда. И автор — И. Христолюбова, и цена — бесценная. И печать высочайшая, потому что ручная.

Рисовала готический шрифт и виньетки — Оля, племянница поэта Алексея Решетова, тогда совсем юное создание, дочь его рано погибшего и любимого брата...

Фотоколлажи делали сообща из фотографий, какие Бог послал, узнаю и весьма туманные снимки моей работы: гусары Болотов и Соснин, маркиз Надеждин...



Редактор, как всегда, Надежда Пермякова, она же Гашева...

Рецензент — муж Иры, любимый всеми её друзьями и любивший всех её друзей Гриша Мещеряков. Детдомовец и беспризорник, человек горячий, пылкий и добрый, закончивший ВГИК киносценарист, начальник кинопроизводства Свердловской киностудии. В семидесятых переехал в Пермь и возглавил кинопроизводство на Пермской телестудии. Влюбился в Иру с первого взгляда...

Ответственный за выпуск — поэт Алексей Решетов...

Что тут скажешь? Документ! И очень солидный, никаких фальсификаций.

Действительно — никаких! Герои «Дворянского гнезда» — реальнейшие живые люди, друзья автора. Правда, на страницах рукописи они участвуют в событиях и временах не вполне реальных и в качестве гусаров, маркизов, грузинских князей, потомков декабристов. Но вот в чем дело: в этом качестве они, по прошествии нескольких десятилетий, кажутся гораздо более самими собой, чем позволяла им быть самими собой та далекая и вполне реальная, советская жизнь. Они предстают яркими и абсолютно свободными. Здесь, в «Дворянском гнезде» — *«Все они красавцы, все они таланты, все они поэты...»*. При этом — абсурдно, весело, смешно! Фантастично... И зорко. Христюлюбова их *разглядела*. Они такими *оказались* на этих страничках. И сами себя узнали.

Как это Ирине Петровне удалось?

Легко! — Вот ключевое слово.

Все, что так коротко, печально, смешно и на скорую руку сочинила Ирина Христюлюбова — фантастично, но и фантастически точно. Короткие новеллы, каждая в одну-две страницы, передают характеры и суть героев в абсолютной чистоте. Никаких частных и случайных бытовых подробностей. Лишь едва уловимые намеки на реальные события, на наше бедное советское бытие. Легкий привкус утлой реальности — канцеляризмы и штампы родного, помятого языка эпохи недоразвитого социализма. Но этот привкус на фоне дворянских декораций рождает некоторую оторопь и эдакое — ух ты!... Как если бы натуральный постовой с угла улиц Хохрякова и Ленина вдруг объявился на бале-маскараде высшего общества Петербурга пушкинской поры... Автор посмеивается. И читатель тоже.

Смех смехом, но поэты не милиционеры, они — во все времена — прячут над своей эпохой. И если б Алексей Решетов, или Виктор Болотов, или Борис Гашев, или Юлиан Надеждин, или Роберт Белов в самом деле оказались в литературном салоне Петербурга или Москвы

девятнадцатого века — их не осмелили бы и приняли как братьев. Иринино «Дворянское гнездо» — еще и об этом: чем дальше от фальшивой реальности, тем реальней и ярче выступают подлинные черты человека...

Абсолютно легкое, естественное сближение крайностей у писательницы Ирины Христолюбовой вовсе не только в «Дворянском гнезде» присутствует. Оно живет в каждом ее произведении для детей или для взрослых — не имеет значения. Таково одно из главных свойств ее таланта. Деревенский домовой из детской повести «Топало» так же легко оказывается на палубе теплохода «Космонавт Савиных», как пермский писатель Геннадий Солодников — на страницах «Дворянского гнезда». И оба (домовой и писатель) ведут и чувствуют себя в необычной среде совершенно натурально!

Вот отрывки из шестой новеллы, посвященной Солодникову.

Начало выхвачено как будто из советского учебника истории:

«Он вышел из глубины народа, из крестьян. В то время, как знатные дворяне Болотовы разорялись, крестьяне Солодниковы богатели и превращались в купцов. Когда ему стукнуло 17, отец поставил Геню в лавку, торговать. Но его неопытная душа рвалась в столицу. Отец вздохнул, запряг лошадь и отправил сына в город Пермьбург...»

Далее идет молниеносно описанная карьера героя:

«Солодников хотел получить образование, а также воспитание, но так и не получил. Но кое-что узнал, кое о чем стал догадываться. Малый он был не дурак, государеву службу нес исправно, заслужил любовь при дворе и был пожалован в дворяне».

Далее — завязка интриги:

«Однако, крестьянско-купеческая натура Солодникова была широка — шире дворянской. Его не устраивали всякие там дворянские балы и приемы, ему нужен был простор — поле, а иногда лес, тройка лошадей с бубенцами, цыгане, цыганки и цыганята! Он сам не знал, что делать со своей широкой натурой, куда кинуться. Однажды он прочитал роман Достоевского «Идиот» и начал жечь деньги пачками, как Настасья Филипповна, и при этом хохотать громким крестьянско-купеческим смехом».

Далее развязка:

«Следует сказать еще об одной черте Солодникова (которая тоже объясняется невозможной широтой его натуры) — он любил родной русский язык, особенно его нецензурную часть. Было время, когда он даже собирался писать научный трактат «Русский язык и моя роль в ём»... Было время! Но однажды в его родной деревне случился пожар, и сгорела лавка, в которой он торговал в юности. Солодников — разорился!

Как он сожалел сейчас о тех купюрах, которые сжёг по примеру этой психопатки Настасьи Филипповны...»

И наконец, эпилог:

«Натура его потихоньку стала сужаться. Это болью отозвалось в его легкоранимом сердце. Дворяне не могли сдержать слез, слушая рассказы Солодникова о его былой жизни и сопоставляя их с действительностью. «Эх, братцы дворяне! — говорил он. — Как я

раньше любил помыться, побриться, постричься, носочки постирать!..» — При этих словах теплел даже холодный взгляд Надеждина...

Постепенно Солодников увял и захирел. Время от времени раздаётся его тихий плач, а иногда стон».

Всё! Конец новеллы.

При мне её читал Гена Солодников. И отнюдь не огорчился, а хохотал до слёз именно своим крестьянско-купеческим смехом...

Все девять новелл первой части «Дворянского гнезда» связаны, переплетены друг с другом, как веточки и травинки в гнезде. И точно так переплетались судьбы героев в самом деле, в реальной жизни. Первая часть «ДГ» написана в 1973 году. На технической странице эта дата стоит в графе «сдано в набор». Вторая часть называется, как продолжение «Трёх мушкетеров» — «ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».

«Дворянское общество Пермебурга» в самом деле существовало годы, годы и годы. Оно и сейчас подспудно существует. Хотя и очень поредело. Нет Гриши Мещерякова, нет Лёши Решетова, нет Бори Гашева, нет Вити Болотова, маркиз Юлиан Надеждин давно живет в Ярославле.

Нет даже дома на Малой Ямской.

Однако, «Дворянское гнездо» осталось — в красной дерматиновой папочке.

Не думаю, что с ним время поступит так же, как с почетным дипломом, жившим в папке до «Гнезда». Уж очень оно... ручной работы, очень переплетено с живым временем и вместе с тем — парит над ним.

Гнездо существует не только на бумаге, оно было и есть на самом деле — реальнее некуда.

Оно легкомысленно, но прочно, было свито в унылые времена одной странной птицей. Птенцы звали ее по-разному — Ирэн, Ирка, Тютя, Ирушка... Все они ее любили. Никто не спешил ее гнездо покидать. Коготок увяз — всей птичке пропасть...

Слава Богу, я к этим птенцам принадлежу.

«Загадочный по сути круг...»

У нашего «Дворянского гнезда» был совершенно конкретный адрес: Малая Ямская, 5.

Виктор Болотов, поэт и герой первой новеллы, в семидесятые годы написал стихотворение, которое любила (и любит) Ирина, и я люблю, да и всем «дворянам Пермебурга» оно, думаю, памятно.

Начиналось стихотворение так:

*Определился круг знакомых,
Загадочный, по сути, круг.
В каких он вычерчен законах?
И вот — определился вдруг!*

Думаю, Иренино «Дворянское гнездо» зародилось из легкой, свободной пушкинской интонации. Из необязательности, внутренней свободы, душевного влечения — совершенно сам собой возник «загадочный круг», который «определился вдруг». Я попала в него действительно вдруг и со стороны. Остальные «дворяне» к моему появлению уже несколько лет посещали общие балы, стрелялись на дуэлях, или, как «гражданин Очёр», сражались

на баррикадах чужих революций. Некоторые подумывали, не выйти ли на какую-нибудь Сенатскую площадь... Они были старше и знатнее меня.

Я же «угнездилась» в 1967 году в возрасте девятнадцати лет. Просто принесла свои стихи в Пермское книжное издательство, а редактор Надя Пермякова (разумеется, давно уже к «гнезду» принадлежавшая) несколько из них отобрала для «Княженики», этот сборник стихов как раз готовился к изданию.

Книга вышла совершенно необычная по тем временам — изящная, в твердой обложке и на хорошей бумаге, иллюстрирована она была фотографиями настоящего фотомастера Эдика Котлякова, и все авторы — это самое удивительное! — были молодые женщины. Нас, авторов (10 девиц) Котляков водил фотографироваться в осенний Горьковский сад. О, как потом это обстоятельство высмеивалось критикой! Книга пользовалась успехом, тираж был такой, что и не снится поэтам 21-го века, но местные газеты в те времена очень сердились. Критика принесла «Княженике» славу. Старые любители поэзии в Перми до сих пор хранят её как реликвию юности. У меня её нет.

Но участие в этой книжечке на всю жизнь привело меня в круг ее авторов — Нади Пермяковой, Иры Христолюбовой, Нины Чернец, вообще в мир литературы... Все мы познакомились под дождем во время съемок в Горьковском саду.

Ирина Христолюбова писала исключительно прозу. Но поэтичную. Ее коротенькую новеллу Надя уверенной рукой построила в столбик и тоже поместила в «Княженику». Начиналось это произведение так:

*«Одиноким предоставляется общежитие...»
Одиноким предоставляется общежитие...»
Где, где спасают от одиночества?
Пожалуйста, вот адрес...*

Для меня это — как эпитафия к «Дворянскому гнезду»...

Однажды, еще до выхода «Княженики», Надя позвала меня прогуляться в гости к Ире Христолюбовой. От издательства до Малой Ямской было рукой подать. Эта, действительно очень «малая» улица (всего несколько домов), возможно и в самом деле была в девятнадцатом веке «ямской». Ведь до шлагбаума, которым кончался губернский город, и начинался настоящий ям — Сибирский тракт — метров двести...

Малая Ямская вела «в гости к Ире Христолюбовой». А дальше, уже за Ириным домом, тянулись овраги и пустыри, за которыми начиналось заросшее Егошихинское кладбище — со знаменитой «змеей, кусающей свой хвост» (надгробье проклятой купеческой дочери), с «сундуком» майора Теплова» (чугунное надгробье героя Первой отечественной войны 1812 года, где любили встречаться дворяне Иринино гнезда). Там, в дремучем центре кладбища, была одна из двух пермских действующих церквей (в детстве именно там я впервые увидела крестный ход на Пасху).

Там же недалеко от забора похоронена моя бабушка Агния Ивановна...

Рядом с Малой Ямской было не только книжное издательство с любимой Ириной подругой Надей и с милой Элей Зибзеевой, но еще чуть ближе — старое кирпичное здание, в котором когда-то размещалась редакция газеты «Молодая Гвардия». Та, легендарная и непокорная редакция времен «оттепели», которая устроила небольшую революцию и была разогнана, когда оттепель кончилась. Ирину тоже уволили. Если не ошибаюсь, в той редакции работали и были уволены — Надеждин, Михайлюк, Гашев — все герои еще не написанного «Дворянского гнезда»...

Биография с географией

Да, значительная это была местность — Малая Ямская. То есть география с биографией здесь играли серьезную роль. Особенно для Иры. Но и для меня — тоже.

Я прекрасно помню первое свое появление у Ирины. Надя, тогда еще Пермякова, привела меня в дом, очень напомнивший мне двухэтажный барак, в котором я несколько лет жила с мамой на станции Мулянка. Только Ирин барак был почти что благоустроенный, в нём на первом этаже была хоть и коммунальная, но не густонаселенная квартира с центральным отоплением и даже с ванной (вода из крана лилась холодная, в ванне в пору было огурцы солить). Комната Ирины с широким окном показалась мне большой и высокой, в ней был стол, коричневый шкаф и, вместо дивана, красное ватное одеяло на полу. Хотя, возможно, и диван был. То есть позднее он точно появился. Но в тот первый приход я запомнила красное одеяло. (Точно такие шила по ночам на сцене клуба «Прогресс» на моей станции Мулянка кладовщица тетя Таня...)

Комната была пустой, светлой и мне показалась уютной. Почему — ума не приложу. Могу только догадываться. Там на сдвоенной полке стояли книги, их было не много, но это были именно те книги, в которые мне хотелось заглянуть. Там на полу стояла настольная лампа с розовым пластмассовым абажуром, горячая стосвечовка прожгла в абажуре дыру. Я сразу устроилась на диване-одеяле у этой дырявой волшебной лампы и с книгой, которая тут же нашлась для меня. Мне почему-то помнится, что это был Бунин. Не берусь утверждать... Ира с Надей разговаривали, называя незнакомые мне имена, а я читала себе книгу... Потом мы с Надей ушли. Но душа моя уже поселилась на красном одеяле. И постепенно незнакомые имена — Лев Давыдычев, Виктор Болотов, Виктор Соснин, Нина Чернец, Борис Гашев, Владимир Михайлюк, Роберт Белов, Валерий Виноградов, Юлиан Надеждин и многие, многие другие — стали мне очень даже знакомыми.

Так я попала в «Дворянское гнездо».

Какая тогда была Ира Христолюбова? Не могу передать, какая хорошая... Серьезная, и в то же время с редким чувством юмора. Длинноногая, статная, очень русская, задумчивая женщина без суеты. Ей было во времена «Княженики» двадцать девять...

Чтоб читатель представил её себе, приведу полностью стихотворение Бориса Гашева (по версии «ДГ» — ученого секретаря государя).

И. Христолюбовой

*Ну, заварилась каша вздора!
Отлипла крышка от горшка!
Опять базарный крик, как штора,
Стоит колом до потолка!
Рты почернели, как от зноя!
Видать, об истине тут речь!
Но будто озеро лесное
Тебе поручено стеречь.
Говорунам — им вон что важно!
У них забот, хлопот — беда!
Но как темна, как неподвижна
Там омутовая вода...
Затворена в лесном утае,
Что в кладовушке под замком,*

*Она как лампа колдовская
С позеленелым ободком.
Она сама себе загадка:
«О чем я, глупая, молчу?
Плавучим перышком заката
Зачем я, Господи, свечу?
Зачем верчу я ветку эту?
Что за такая за напасть?..
Мне глубину свою проведать —
Как будто в обморок упасть».*

Надеюсь, понятно. Ира была совсем не простой человек.

Она была — загадочная личность. Вовсе не пыталась казаться, а была.

(И не знала еще, что напишет книгу с таким названием, и книгу эту будут читать несколько поколений пермских детей, сами попутно становясь довольно загадочными личностями)...

Мы как-то при полном несходстве друг другу вполне подошли. Срифмовались.

Ирина выросла на Пижанке, я на Мулянке. Это, так сказать, сходство по касательной. Но вот что странно: я всю жизнь помню и люблю Ирину родню, как свою. И ее маму, и тетю Гутю, и особенно двоюродного брата Сашу... Помню их лица на старых фотографиях.

Вот что еще было удивительно: все, кто попадал в Ирину комнату на Малой Ямской, 5, все, кто там прижился, с кем я там познакомилась, были на мой взгляд либо очень хорошими, либо еще лучше.

Причём — не правильно хорошими. Но безусловно.

Ну, вот например, поэт Витя Болотов попадал сюда иногда через форточку. Потому что был безумно отважен (что ярко отображено в «ДГ»). К тому же, он недавно служил на Тихоокеанском флоте, и, естественно казалось мне, умел лазать по вантам, реям и мачтам, но, главное, Болотов был достаточно интеллигентен, чтоб не стучаться после десяти вечера в дверь коммунальной квартиры, рискуя разбудить старушку-соседку тетю Лизу (Бедную тетю Лизу — так ее звали Ирины гости). Тетя Лиза долгонько враждовала с дворянами Пермебурга, но, будучи в глубине души женщиной доброй, всю эту компанию приняла и полюбила. Потому что — люди хорошие. Хотя и не всегда трезвые.

Отдельно о пьянстве и трезвости.

Выпивали. Не больше, чем в среднем по стране. Но и никак не меньше. Однако — лучше. Не в смысле закусывали лучше, нет. Пили интереснее, вдохновеннее и чище, чем мне приходилось наблюдать в мои двадцать лет повсюду. Унылое, беспробудное, нечеловеческое пьянство царило на родине. Например, на станции Мулянка Свердловской ж.д. (уже как-то нетрезво звучит, не находите?). Или на УХЗ (переводилось «У нас Хрен Заработает» или, если официально — Уральский Химический Завод, ныне «Галоген»), я там работала аппаратчиком четвертого разряда среди неплохих дядек, ежедневно похмелявшихся гидролизным спиртом в неограниченных и неразведенных количествах. До сих пор в любой компании моих ровесников на территории бывшего СССР (кроме Грузии) допив бутылочку винца, собравшиеся её немедленно отправляют под стол! Почему? Потому что — навсегда въевшаяся привычка — пить по-быстрому, на работе, тайно, скрывая тару от начальства и в надежде сдать бутылки. Причем начальство в своем кругу поступало так же.

Нельзя сказать, чтоб поэты в те времена пили как-то иначе, но они были поэты, и, что ни говори, пили как Пушкин с няней Ариной Родионовной, или Блок с Незнакомкой, или, на худой конец, Денис Давыдов с гусарами. Конечно, водка — она и в Африке водка, то есть вещь жесткая и опасная. Продукт вредный и погубил многих хороших людей из всех сословий.

Но процесс — важен. И процесс процессу рознь. Даже бедная тетя Лиза это поняла. Для меня же разница была просто разительна и очевидна.

Расскажу маленькую историю.

Была у меня в те времена веселая и даже талантливая подружка, которая не поленилась однажды приехать ко мне в Закамск, когда я была на работе. Она рассказала моей маме, что когда я не приезжаю из Перми ночевать, я остаюсь пьянствовать у некой Ирины Христолюбовой в компании крайне подозрительных людей, в основном мужчин. Мама моя капли в рот не брала, терпеть не могла пьянства и всего, что с ним связано. Она меня очень любила и мне доверяла, но была человек очень больной и впечатлительный. Я тогда работала именно на УХЗ, смена начиналась в семь утра, а к восьми вечера мне надо было ехать в университет, где я училась на вечернем отделении мехмата. Домой возвращалась к часу ночи, снова вставала в пять утра и так далее. Молодая была, справлялась. Но мама не то что разрешала, а иногда даже и просила меня оставаться на ночь в Перми у родни или друзей. Но тут — такой донос. Маме плохо с сердцем стало. Всерьез. Она мне рассказала о визите подружки. Что мне было делать? Я пересказала эту беду Ире Христолюбовой, она вздохнула и сказала:

— Поедем в Закамск вместе.

Так мама познакомилась с Ириной. И поняла, что у меня друзья — очень хорошие люди. Как Ира. Они переглянулись друг с другом и навсегда друг друга поняли. Когда Ирина уехала, мама попросила, чтоб та моя веселая подружка больше у нас не появлялась никогда. Надо учесть, что мама пожила в эпоху доносов, посидела из-за них в лагере, я у нее там и родилась. И людей мама видела до донышка...

А потом так случилось, что Виктор Болотов вдруг поселился с женой Верой (упоминаемой в «ДГ») на нашем Закамском пустыре, на улице Магистральной, в точно таком блочном доме, как наш. И Витя, совершенно отдельно и сам, подружился с моей мамой. Они оба были поэты. И перманентное Витино похмелье мама переносила стоически. Даже с сочувствием. Она частенько по утрам выдавала ему через окно кухни рубль на поправку здоровья, он уходил с этим рублем в овощной магазин за нашим домом, выпивал там разливного и бодрой походкой возвращался к моей Галине Михайловне поговорить о высоком, да и стихи почитать.

Так в Закамске появился небольшой филиал Пермбургского дворянского гнезда.

А в семидесятые в Перми случилось одно архиважное событие: построили на Городских горках большой цирк! И у нас с Ирой возникла общая святая страсть. Событие это нанесло серьезный удар по моему вечернему механико-математическому образованию, да и по работе на УХЗ. В результате я перевелась на открывшееся заочное отделение мехмата и ушла с завода, стала работать с Ириной в ОБЛДЭТСе (Областная детская экскурсионно-туристская станция, в просторечьи Оболдец).

Все свободное время мы с Христолюбовой проводили в цирке. Днем — на конюшнях, в тренировочных залах или даже на арене (меня, чтоб я поснимала воздушный полет, дважды поднимали на лонже под купол цирка)... Вечером мы сидели на *своих* местах возле оркестра. Ира полюбила великого канатоходца Гаджи-Курбана Курбанова (в его честь Алексей Решетов прекрасное стихотворение написал), а я влюбилась в мальчика, выполнявшего смертельно опасный трюк «Капля» в воздушном полёте «Галактика» (и тоже сочинила стихи о нем). Его звали Владимир Гарамов, и я ни разу к нему не подошла, только снимала втихомолку. Ну а Ирина вскоре написала рассказ «Улетают мои вольтижеры...», в котором появилась девочка Маша Веткина, загадочная во всех отношениях личность. Название этого рассказа получилось так. Маша, полюбив воздушный полет, пыталась в рассказе сочинить стихи. Ирина поделилась творческими муками своей юной героини с подругой Надей Пермяковой (уже ставшей Надей Гашевой). И та сочинила две строки:

*«Улетают мои вольтижеры,
Ловиторы не ловят меня...»*

Этих строк Ире хватило, чтоб передать всю тоску Маши Веткиной, расстающейся с детством и с воздушным полетом, потому что программа закончилась...

Маша Веткина в рассказе ходила в цирк с Аней Суховой, девочкой очень румяной, но в глубине души страшно бледной, которая полюбила клоуна, очень печального и страшно смешного. Потом они вместе собрались бежать из дома, чтоб последовать за кочующей по миру своей любимой цирковой труппой...

Аня Сухова — это вообще-то я.

Так я ненароком попала в классику, в одно из самых серьезных произведений мировой литературы третьей четверти двадцатого века для детей среднего школьного возраста — в книгу Ирины Христулюбовой «Загадочная личность». Я действительно считаю книгу прекрасной и выдержавшей испытание временем, ведь её читает и любит несколько поколений ребят Пермского края. И, в качестве редактора небольшого московского книжного издательства, я храню надежду, что книга Ирины будет у нас переиздана с новыми замечательными иллюстрациями... Кстати, о читателях «Загадочной личности». Их первое поколение давным-давно выросло. И вот один из его взрослых представителей стал депутатом Пермской думы, и он вдруг узнал, что в Перми живет (и трудно живет) автор его любимого произведения. Он с Ириной Петровной встретился и как мог ей помог. Не знаю его фамилию. Но дело было в конце лихих девяностых, и помощь была очень кстати.

Еще небольшое отступление. С возрастом для меня все очевиднее, что по-настоящему живое и чистое, по-настоящему человеческое общение — вещь волшебная. Совсем случайные события, происшедшие в таком вот кругу, как Иринино дворянское гнездо, не только не проходят бесследно, но имеют прямое продолжение в судьбах и делах участников круга и даже их потомков. То, что казалось таким мимолетным, недолговечным — стопка бумажек, две строчки стихов, дружеская пирушка... — если все было почисту, на волне истиной любви и дружбы — именно оно-то как раз и не исчезает, приговора, передается всё дальше. Творит следующие круги, дальнейшие судьбы.

Ну, например, можно рассказать о том, как еще аукнулись в моей жизни наши с Ирой походы в цирк... Нет. Пожалуй, не буду. Как-нибудь в другой раз. Поверьте на слово: Ирина Петровна сюжетообразующий, судьбоносный человек для очень многих людей. Загадочная личность, ничего не поделаешь. В связи с этим еще одно воспоминание об Ирине...

Счастье

Однажды чудесным воскресным утром начала не помню какого лета мы с Ириной Петровной решили не пойти на выборы. Выбирали, как всегда, известно кого, генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева обратно в генеральные же секретари ЦК КПСС. Чтоб народу было чем развлечься, сходить в богатые буфеты на избирательных участках и продолжить серию анекдотов про четырехжды героя дорогого Леонида Ильича. Мы с Ирой не были против. Но уж больно хороша была погода. Кроме того, выборы означали, что на журналистской базе отдыха «Сухая речка» в заливе Чусовой, несмотря на воскресенье, народу почти не будет: все сознательные журналисты отправятся голосовать. И мы поехали прекрасным маршрутом — сначала электричкой, потом паромом, потом пешком по свежей травке, через холмы и леса... С собой у нас было три пол-литровые бутылки сухого красного вина «Матраса», произведенного крымским винозаводом «Черноморец» и

стоившие 87 копеек за бутылку, а также хлеб, лук и сыр (почти как в Грузии! — о чем я тогда и не подозревала, кто ж знал, что меня туда занесет через десяток лет). Дорога шла через деревню Гари, и там мы неожиданно для себя купили трехлитровую банку парного молока.

На базе отдыха не было даже её директора товарища Решетникова, человека вредного, но хозяйственного. Мы расположились на травке под теплым солнышком и позавтракали молоком, хлебом, зеленым луком и сыром. О чем говорили — не помню. Но вот что запомнила на всю жизнь.

— Ты на руках ходить пробовала? — вдруг спросила меня Ира.

— Нет, — честно ответила я.

— А я в детстве умела...

И вот она решила попробовать снова. Не спеша собралась, подумала, встала на руки и пошла. Походила, походила и аккуратно легла на травку...

Я никак такого не ожидала!..

Весь день мы пили молоко, а когда допили, на базу вернулся шумный и деятельный проголосовавший Решетников, и мы с Ирой поняли, что пора домой. По дороге опять зашли в деревню Гари и вернули хозяйке коровы чистую трехлитровую банку.

Я сейчас хвастаю моим двум внукам, что у меня есть подруга, которая легко гуляла на руках по зеленой травке. Мои отважные мальчики так не умеют, и подружек таких у них пока нету. Пусть завидуют.

Три бутылочки «Матрасы» мы привезли обратно в Пермь. Не до них было. Такое выпало счастье.

Круг чтения. Круг.

Дворяне Пермебурга были люди читающие. Читая, они прочитанным делились, иной раз спорили до хрипоты (о такого рода спорах в посвященных Ирине стихах Бориса Гашева как раз и сказано *«ну, заварилась каша вздора, отлипла крышка от горшка...»*).

В 1967 году, только переехав с мамой в Закамск, я углядела на полке маленького книжного магазина одну книжку, не толстую, средненькую. Я сунула в нее нос и мгновенно почувствовала, что это — книга для меня. Как рассказы Киплинга или того пуще — «Над пропастью во ржи» Сэлинджера (была такая великая небольшая книжка с мальчиком Эндрю Уайеса на обложке).

Книга в Закамском книжном магазине называлась так: «Дачная местность, или жизнь в ветреную погоду». Автор был не англичанин, не американец, а вполне отечественный, питерский и неизвестный — Андрей Битов.

Прошло порядком времени, я окончательно угнездилась в «дворянском гнезде», перешла на заочное отделение мехмата, работала с Ирой в «Оболдеце» (не помню, кем работала Ира, а моя должность называлась «кружка-водка», я не шучу)... И как-то вдруг и само выяснилось, что любимый писатель Ирины Христороубовой — это мой любимый писатель Андрей Битов. Мало того, она, учась на заочном отделении филфака ПГУ, написала по его (совсем еще небольшому, хотя уже замечательному) творчеству дипломную работу! Мало того, она была с ним в продолжительной переписке и даже попыталась съездить познакомиться в Ленинград. Съездила. Но не познакомилась — не застала дома.

Вот что я по этому поводу думаю: не мы выбираем наш круг (общения, чтения, вообще жизни), а ОН — НАС.

Мысль простая, но далась она на собственном опыте.

Я дописываю свои записки об Ирине Петровне Христолюбовой в купе поезда Москва-Красноярск, в котором еду в Пермь, где и передам эти записки Надежде Николаевне Гащевой, бывшей Пермяковой. Она по-прежнему лучший из встреченных мною за жизнь редактор.

А в соседнем купе едет с дочкой Анной писатель Андрей Георгиевич Битов. Едет, чтоб в вагонное окно на Родину посмотреть, принять участие в Пермской книжной ярмарке и в международном форуме «Русский язык на границе Европы и Азии». А также впервые встретиться с Ириной Христолюбовой, первой исследовательницей его молодого творчества и другом по переписке...

Вот это КРУГ. То есть вот что это такое — круг. Магический знак бесконечности жизни...

Тихий ангел

Напоследок мне хочется вернуться на Малую Ямскую, дом 5, вернуться в один из вечеров, когда все Иринины декабристы были живы, молоды и проживали в Пермебурге.

Сделать это мне просто, потому что когда-то об одном из таких вечеров я написала стихотворение «Тихий ангел», посвященное, само собой, Ирине Христолюбовой. Вот оно.

*Дело было на пирушке, у Ирушки, в октябре.
С бражкой гремели кружки,
Было весело и душно.
Было пусто, было скучно
И промозгло на дворе.*

*Приближался час, постылый,
Когда всем пора туда —
В темень, в скуку, где на стылых
Рельсах
ждет трамвай пустынный,
Развозить, кого куда.*

*И когда уже не пилось,
И уже не говорилось,
И не пелось никому —
Расходиться не хотелось.
И понятно — почему.*

*Вот тогда и замолчали.
Ниточка оборвалась.
Чуть помедлив и отчалив
От веселия к печали
Жизнь неслышно понеслась.
Тусклый свет в окно пролился,
Каждый это ощутил.
— Милиционер родился... —
Кто-то было пошутил.
Вяло пошутил, с зевотой,
И шутить-то не хотел.*

*Но его поправил кто-то:
— Тихий ангел пролетел!*

*Вон что! Тихий ангел реет
Среди северных небес.
Ничего он не умеет,
Никаких таких чудес.
Просто нас объединяет
С небом в северной ночи.*

*Тот, кто это понимает,
Понимает всё почти.*

*Тихий ангел,
Тихий ангел...
Мы не сразу разошлись,
Мы ещё врубили танго —
Мы подогревали жизнь!
Пили, пели и кричали:
— Длись, тепло, пирушка — длись!..*

*Только всё-таки молчали,
От веселия к печали
С тихим ангелом неслись.*

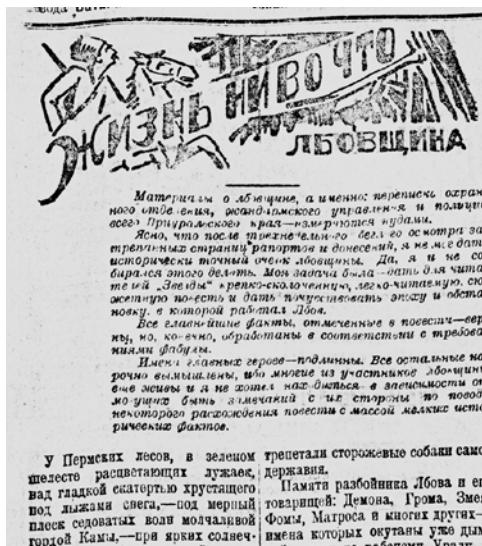
*Мы уже про это знали:
Снег ли валит, дождь ли льёт —
В сером небе к смутным далям,
От веселия к печалям —
Не смертелен перелёт.*

До скорой встречи, Ирина Петровна!

29 мая 2013 г., поезд Москва-Красноярск, станция назначения — Пермь

Андрей Кудрин

Метаморфозы исторической реальности в повести Аркадия Гайдара «Жизнь ни во что»



79

«Хочется сказать, что книжку А. Гайдара «Жизнь ни во что» (о лбовщине) я читал ещё раньше и должен сказать, что в этой книжке много литературной выдумки».

Иван Михайлович Лбов¹

В январе 2014 года исполнится 110 лет со дня рождения писателя Аркадия Гайдара. Как известно, имя его тесно связано с историей Прикамья. В середине 1920-ых годов он работал журналистом в пермской окружной газете «Звезда». В этот период им было написано множество фельетонов, очерков, статей и несколько художественных произведений. Среди них выделяется повесть «Жизнь ни во что» («Лбовщина»), созданная на основе местного материала специально для этого периодического издания. Её главный герой, Александр Лбов, был в то время известен пермякам как активный участник революции 1905-1907 годов, знаменитый экспроприатор, атаман боровшихся с провокаторами и полицией «лесных братьев». Немногие знали его лично, большинство было наслышано о нём из легенд, устных рассказов², читало про него в подшивках старых газет и замусоленных брошюрах с выпусками незамысловатых бульварных романов³. Образ его был неоднозначен, но за ним стояла древняя история о лесных братьях-разбойниках — один из вечных повторяющиеся фольклорных сюжетов⁴, перенятых романтической литературой⁵. Гайдар попытался уйти от этих смутных представлений, увидеть за легендами живого человека, реальные события, показать читателям «недисциплинированного, невыдержанного, но смелого и гордого бунтовщика», который жил с ними рядом совсем недавно.

Действие повести происходило в те годы, когда тысячи интеллигентов-радикалов после поражения революции отдалялись от левых партий, зачитывались «Санниным»⁶, уходили прочь от прежних идеалов к инстинктам, в индивидуализм, в мещанский мирок. Рабочие, вовлечённые ими в политическую борьбу, оставались один на один с правительственной реакцией, у них не было пути назад, альтернативой были смерть, каторга, тюрьма, ссылка, в лучшем случае, эмиграция или жизнь под чужим именем вдали от родных мест. Без идейного руководства они деградировали, склонялись к механическому боевизму, скатывались к всё более и более архаичным формам сопротивления.

По сюжету, после разгрома мотовилихинского вооружённого восстания рабочий Лбов с несколькими товарищами ушёл в лес, откуда продолжил вести борьбу с властями. Спустя некоторое время к нему присоединились специально присланные из Петербурга четверо опытных боевиков. С ними он создал партизанский отряд. Лбову в повести противостоит казачий хорунжий Астраханкин, у которого есть невеста Рита Нейберг — дочь правителя канцелярии пермского губернатора. Эти трое и безымянная любовница партизанского вожака образуют сложный любовный квадрат, отношения внутри которого обеспечивают развитие главной линии сюжета. Ещё один персонаж — титулярный советник Феофан Никифорович Чебутыкин, часто попадающий в нелепые ситуации, стал основой побочной линии.

I

«Лбов! Читайте «Звезду»! В январе «Звезда» начинает печатать повесть Гайдара «ЖИЗНЬ НИ ВО ЧТО» (Лбовщина). Выписывайте «Звезду»! Лбов!» — с такой рекла-

мой вышел свежий номер газеты 22 декабря 1925 года. Редакцию можно было понять, с января 1926 года подписка на газету становилась индивидуальной, а не коллективной, как прежде, приходило время бороться за каждого читателя. Её аудитория состояла в

основном из рабочих, и нужны были какие-то новые, нестандартные ходы, чтобы они отдали свои трудовые 70 копеек за месячную подписку⁷.

В это время в стране шёл большой советский юбилей — 20 лет первой русской революции. Пермькам было что вспомнить. Среди партийных работников и рядовых горожан имелось много участников событий тех лет, а окружной исполком возглавлял главный мотовилихинский революционер Александр Лукич Борчанинов.

Осенью 1925 года «Звезда» печатала много материалов на эту тему, среди которых были и рассказы её нового штатного фельетониста — Аркадия Голикова, работавшего под псевдонимом «Гайдар». Псевдонимы вообще были очень популярны тогда. Книжный рынок тонул в море низкопробной иностранной литературы, презрительно именовавшейся «пинкертоновщиной»⁸. Отечественные писатели тоже старались не теряться в доходном пространстве авантурных жанров⁹. «Звезда» подстраивалась под спрос, большое место в ней занимал раздел уголовной хроники, авторы которого скрывались за яркими прозвищами «Анчар», «Зюйд Вест» и даже «Сенька Прыщ»¹⁰. Звучало требование дать «красного Пинкертона» и со стороны партии, пытавшейся использовать вкусы публики. Его в 1923 году высказал в своей передовой статье ответственный редактор «Правды» Николай Бухарин. В ответ появились романы Мариэтты Шагинян, Ильи Эренбурга, Алексея Толстого и других¹¹.

«Красный Пинкерто́н» был близок к жанру фельетона, в некоторых странах, например во Франции, такой тип авантурной литературы так и назывался — роман-фельетон. И, конечно, журналист Гайдар, выглядевший как молодой Шерлок Холмс, только что вернувшийся из Красной армии, был в глазах редакции как нельзя более подходящей фигурой для написания произведения в этом роде. Тем более, что нашлась увлекательная и в то же время революционная тема — лбовщина, о которой ходило много легенд. «Пинкертоновщина»

работала как литературный сериал, тексты очередного произведения всегда выходили выпусками по несколько глав. Для поднятия тиража в «Звезде» впервые было принято решение начать публикацию относительно большого художественного произведения, за работу над которым, как и намечалось, взялся Аркадий Голиков. Первую часть повести он написал заблаговременно ещё в 1925 году, вторая создавалась в спешке уже после начала публикации. Произведение печаталась с 10 января по 3 марта 1926 года в 29 подвалах газеты. По форме повесть напоминала «пинкертоновщину», автор использовал некоторые её шаблоны. Однако главным героем в ней стал не сыщик, а, напротив, преступник. А. Никитин пишет, что Гайдар был с детства знаком с творчеством С. Степняка-Кравчинского¹², певца и одного из творцов мифа о «Подпольной России»¹³, в чьих книгах фигурировали чистые, почти святые революционеры-герои¹⁴, за которыми охотилась полиция. Поэтому из «Лбовщины» не получилось «красного Пинкертона», получился новый жанр, пионером которого и стал сам автор.

Повесть пользовалась у читателей большим успехом и несколько раз переиздавалась впоследствии. Текст, названия глав и их количество, имена некоторых героев в «Звезде» и в первом отдельном издании несколько отличались от последующих переизданий. Известно, что готовясь к работе над повестью, Гайдар три недели просидел в архивах, встречался с очевидцами и участниками событий 1905-08 годов, поэтому ещё в 1926 году у читателей возник не потерявший своей актуальности и требующий ответа вопрос о том, где в повести художественный вымысел, а где реальные факты.

II

Минуя все предыдущие события жизни Александра Лбова, Гайдар знакомил с ним читателя непосредственно в судьбоносный для него и других персонажей повести день — 13 декабря 1905 года. В целом

описание событий в первой главе давалось им близко к тому, как они преподносились в то время пермским бюро истории партии¹⁵. Но, как и обещал автор, факты были им обработаны в соответствии с требованиями фабулы¹⁶. Например, строительство Лбовым баррикад в повести происходило ночью, а не днём, как это было в действительности. Аркадий Петрович дал в руки своему герою старую берданку, хотя по показаниям свидетелей и воспоминаниям ключевого участника событий, Александра Борчанинова, никакого оружия у Лбова не было и в дружине он не состоял¹⁷. Подлинными баррикадами между Баковой и Томиловской улицами, строительством которых он руководил, негодились и перестрелки там не было¹⁸.

Будь у реального Лбова винтовка, он непременно стрелял бы из неё. И он требовал у Борчанинова оружие, как тот писал, «в довольно сильных выражениях», но взять его было негде. Именно поэтому через два дня, 15 декабря, на Большой улице в самом центре Мотовилихи Лбов в отчаянии пытался в одиночку разоружить сразу трёх полицейских стражников, но безуспешно. Строительство баррикад и попытка разоружения патруля — это все обвинения, которые предъявлялись тогда рабочему Лбову.

Совещания, случившегося через какое-то время после восстания, на котором «неграмотный» Лбов, как верно подметил А. Никитин, вольно цитировал не больше и не меньше, как статью Владимира Ульянова (Ленина) «Революционеры» в белых перчатках¹⁹, в действительности тоже не было. Дело в том, что никакой квартиры в Мотовилихе у Ивана Смирнова (Сочня), прототипа гайдаровского Николая Смирнова, в тот момент не могло быть, он жил тогда в Сормове и приехал в Пермскую губернию только в последних числах апреля 1906 года. Но были другие встречи, на которых партийные и беспартийные революционеры действительно обсуждали то, как им быть дальше.

Пресловутая неграмотность Лбова была упомянута Гайдаром ещё дважды. Когда к нему приезжал некто Фёдор из петербургской боевой организации, Лбов спрашивал

его о книгах, и тот дал ему почитать одну из них, но услышал в ответ: «*Я не могу сам, <...> Учиться не у кого было*»²⁰. То же произошло и перед приездом четырёх петербургских боевиков. Лбову принесли записку, но прочитал её для него другой человек²¹. Однако во второй части повести Гайдар как будто забыл обо всём этом или дал понять читателю, что лесные университеты не прошли для Лбова даром, поскольку переданное ему Астраханкиным письмо Риты Нейберг он читал сам²².

Эти противоречия объяснимы. В то время автору «Лбовщины» сложно было растолковать читателю «Звезды», как, будучи грамотным, главный герой повести о революции мог оставаться вне партийных рядов или хотя бы в явной форме не сочувствовать большевикам. Давно известно, что исторический Лбов умел читать и писать, об этом говорит не только наличие подлинной подписи под одним из мотовилихинских волостных документов, но и справка о Лбове, составленная в вятском губернском жандармском управлении, где в графе «образование» чётко указано: «*Мотовилихинская 3-х классная школа*».

В тексте повести не раз встречались упоминания о землянках, в которых жили лбовцы, об их оружии и других деталях повседневной жизни, но в целом их быт описан довольно скупо. Действительно, Лбову и его товарищам случалось жить и в землянках, но летом куда чаще они ночевали под открытым небом, а в холодное время жили в избушках сторожей Мотовилихинской лесной дачи, в домах мотовилихинских обывателей или на квартирах в Перми, других городах и селениях, а иногда даже в гостиницах Прикамья и Среднего Урала.

В гораздо меньших масштабах, чем в повести, но боевиками использовался грим, чаще всего парики, накладные усы, бороды, чёрные марлевые маски. Полиция несколько раз находила и то и другое у арестованных или убитых «лесных братьев». Были у лбовцев свои явки, практиковались пароли и кодовые слова. Из оружия ими применялись винтовки, как уже устаревшие одноза-

рядные берданки, так и магазинные, принятого в русской армии образца, иногда из винтовок ими делались обрезы. Кроме того, у наиболее видных боевиков были, разумеется, легендарные пистолеты Маузера, а у других снятые с вооружения револьверы Смита и Вессона, «бульдоги», кое-что ещё, и особенно часто — небольшие, очень удобные для скрытого ношения самозарядные браунинги модели 1900 года. Был и эксклюзив: дробомёты — гладкоствольные автоматические ружья Браунинга «Auto-5», Н. Чердынцев писал об одном, но их было несколько, однако о том, удалось ли лбовцам использовать в деле хоть один экземпляр, ничего не известно²³. Есть некоторые подтверждения и тому, что у связанных со лбовцами петербургских боевиков был пулемёт, но не в Перми, а в Петербурге, в одном из домов за Невской заставой²⁴.

Благодаря близости к Пермским пушечным заводам у «лесных братьев» не чувствовалось особого недостатка в бомбах, которые делались, как правило, из заготовок к артиллерийским снарядам, пироксилина и динамита, добытого на складах других заводов. Ножи, кинжалы и кастеты тоже были в основном самодельными, холодное оружие такого рода вообще было в Мотовилихе обычным явлением.

У «лесных братьев» существовала некоторая функциональная специализация. Лбов (Длинный) в апреле-июле 1907 года был верховным вождём. Его заместителем и идеологом был Михаил Гресь (Гром), затем шли командиры групп: Василий Пищулёв (Тёмный), Михаил Горшков (Максим) и др. Были бомбисты, например, Илларион Паршенков (Демон) и милиционеры, которых можно условно охарактеризовать как стрелков. Кроме того, существовали люди, занимавшиеся сбором сведений, доставкой еды, оружия, предоставлявшие временное убежище, стиравшие одежду, дававшие лошадей и т.д.

Имелись и те, кто оказывал медицинскую помощь, например, фельдшер по кличке Иисус и аптекарский ученик Василий (Заяц). Был и самый настоящий доктор, о котором

вскользь упомянул Гайдар — Вильгельм Штемпелин из заводского мотовилихинского госпиталя, именно он оказал помощь раненому в феврале 1907 года Демону.

В главе «О том, как Лбов собирался Пермь брать» заходит речь о количестве «лесных братьев» и называется их число — около четырёхсот²⁵. Реальный Лбов утверждал, что бывали моменты, когда их было ещё больше: «В Надеждинском заводе производился полный разгром, участвовало там более 500 человек и наш план был таков, чтобы овладеть всем Богословским округом...» — рассказывал он в последние дни перед казнью. Однако ситуация в Верхотурском уезде, на территории которого располагались завод и округ, была исключительной. Рабочие предприятия бастовали, и лбовцы получали от них поддержку даже в самых жестоких своих действиях, таких как убийство директора завода Прахова и начальника коммерческой части Де Кампо Сципио.

В другое время общее количество «лесных братьев» и тех, кто эпизодически им как-то помогал, составляло не более двухсот-трёхсот человек, число же активных, постоянно действующих боевиков в разных группах вряд ли когда-либо превышало сотню. В основном это были очень молодые люди, некоторые даже несовершеннолетние, зрелых среди них было совсем немного.

Судя по запискам лбовцев, себя они чаще всего называли «лесными братьями», «лесными террористами», «социалистами-террористами» и т.п. Что касается названия «Первый Пермский революционно-партизанский отряд»²⁶, упомянутого Гайдаром в повести, то оно появилось в только в июне 1907 года и было в ходу недолго. С середины лета его использовала только группа, в состав которой входили петербургские или близкие к ним боевики²⁷. История с уставом отряда имеет реальную основу. Он был написан «питерцами» в начале июня 1907 года, но, по свидетельству очевидца, Лбов, полистав документ, не воспринял его всерьёз, а типография пермских социал-демократов отказалась его печатать. Если

верить словам Александра Лбова, существовал и план налёта на губернскую столицу. Незадолго до смерти он рассказывал: «...в 1907 году у нас был составлен план взятия всего города Перми, для чего было сформировано 5 отрядов. Только что высланы были первые два отряда, второй из них испортил всё дело и план пропал».

Гайдар никак не мог определиться с отношением Лбова к дисциплине. Он называл его невыдержанным, демонстрировал грубость и недостаток культуры, но в тоже время указывал, что он пытался наводить порядок, ради чего мог идти на крутые меры вплоть до расстрела. Целая глава о событиях в Хохловке посвящена именно этому. Автор опустил массу интересных деталей о том, что это была экспроприация сразу в трёх пунктах — конторе Абамелек-Лазаревых, лесопилке Башенина и казённой винной лавке²⁸, о том, что имея возможность отобрать револьвер и лодку у частных лиц, лбовцы их купили за деньги и т.п. Он сосредоточился только на эпизоде с ранением сиделицы одним из лбовцев и последующим его публичным расстрелом²⁹.

Дух событий был передан им верно, но фактическая сторона искажена. «Лесные братья» не перерезали телеграфные провода возле Хохловки, это они делали позже, возле Добрянки и в Богословском горном округе, Лбов не стрелял в нарушившего договорённость боевика сам, это сделал кто-то из его товарищей и, наконец, провинившийся боевик не был убит. Получив четыре пули, он выжил, был задержан полицией и позже осуждён вместе с остальными. Сиделице была оказана профессиональная медицинская помощь, вся водка вылита или роздана крестьянам, в лавке оставлена записка: «Товарища убили за то, что стрелял в женщину. Деньги взяты. Экспроприаторы».

К алкоголю, как известно, отношение у Лбова было особое, он не был принципиальным трезвенником, но понимал, что без «сухого закона» отряд развалится. И эту линию он проводил твёрдо, железной рукой. Он не только делал замечания Моряку, как это показывает Гайдар, но и в самом деле

ударил его штыком, однако не убил, а ранил. На этот счёт есть показания совершенно не заинтересованного в обелении атамана лица — провокатора Дмитрия Худорожкова: «В шайке был недолго Моряк, которого Лбов выгнал из шайки за пьянство, причём ранил его штыком».

В конце концов Гайдар верно понял суть проблем с дисциплиной. Лбов, имевший опыт службы в армии, как ни пытался, не мог лично контролировать всё, а положиться ему больше было не на кого. И действительно были случаи, когда лбовцы стреляли друг в друга. Например, в ходе одной из ссор Михаил Двойнишников (Окунь) выстрелил в голову Эдуарду Григорьеву (Медведю). Раненый, он попал в руки полиции, лежал некоторое время в больнице, но в итоге скончался.

Важное место как в подлинной истории лбовщины, так и в истории, рассказанной Гайдаром, заняли так называемые «питерцы». В повести их четверо, как сообщил приехавший специально для разговора со Лбовым член петербургской боевой организации Фёдор: «два анархиста, один эсер и один социал-демократ»³⁰. Глава, посвящённая их приезду, так и названа — «Встреча». Выглядела она так.

Однажды весной в лесу раздался фальшивый крик не то кукушки³¹, не то ястреба, и перед тревожно ожидающим их Лбовым предстали четверо испытанных временем террориста: «Демон — черный и тонкий, с лицом художника, Гром — невысокий, молчаливый и задумчивый, Змей — с бесцветными волосами, бесцветным лицом и медленно-осторожным поворотом головы, и Фома — низкий, полный, с подслеповатыми, добродушными глазами, над которыми крепко засели круги очков»³². Опиравшийся в основном на воспоминания своих мотовилихинских информаторов, Гайдар плохо представлял себе этих людей, не знал он о том, сколько их было, когда приехали, кем были на самом деле. В действительности их было ровно в два раза больше: Дмитрий Савельев (Сибиряк), Василий Панфилов (Ястреб), Василий Павлов-Баранов (Фомка),

Алексей Максимов (Сорока), Михаил Гресь (Гром), Иван Моржухин (Морж, Ваня Охтинский), Александр Сергеев (Саша Охтинский), Илларион Паршенков (Демон).

Они приехали в Пермь зимой, в середине января 1907 года, по социал-демократической явке, данной Саше Охтинскому сотрудником Боевой технической группы при ЦК РСДРП Сергеем Сулимовым (Пётр)³³. Савельев, Панфилов и Павлов-Баранов были членами автономной «группы террористов-экспроприаторов», возможно, что Максимов и Гресь также имели к ней отношение, Сергеев, Паршенков и Моржухин были работниками конспиративной патронной мастерской Боевой технической группы при ЦК РСДРП на Малой Охте. Четверо из них изначально были социал-демократами, Михаил Гресь, вероятно, был эсером. Не вполне ясна партийная принадлежность Савельева и Павлова-Баранова, Максимов был беглым кронштадтским матросом. Только двоих из них — Савельева, который был студентом, и Гресь, который был учителем — можно называть интеллигентами. Под кличкой Змей в отряде Лбова фигурировал не «питерец», а мотовилихинский рабочий Ипполит Яковлевич Фокин.

Гайдаровские «питерцы» весьма далеки от «питерцев» исторических, они не слишком похожи на живых людей, хотя автор и попытался придать им индивидуальные черты — это скорее люди-функции: Демон — бомбист и интеллектуал, говорящий с Ритой Нейберг по-французски, Фома — конспиратор и идеолог, Гром — опытный организатор и боевик, Змей — специалист по гриму.

Во второй части книги, более сырой и хаотичной, чем первая, без всякого введения появился Ястреб — один из лбовских атаманов, организатор экспроприации на пароходе «Анна Степановна», после которой он исчез из поля зрения читателя. Гайдар обошёл молчанием Дмитрия Савельева — Сибиряка, — в реальности крайне интересного и важного персонажа, за которым в Перми охотились специально приехавшие петербургские филёры. Полиция и охранное отделение считали его куда более опас-

ным террористом и экспроприатором, чем сам Лбов. Он трижды в течение одного года судился военно-окружными судами, сидел в тюрьме Трубецкого бастиона Петропавловской крепости и Пермском исправительном арестантском отделении, погиб во время сопротивления при выводе на казнь. Однако в повести он был упомянут неуместно, мельком и всего один раз, то же можно сказать и об уникальном по своим качествам боевике, единственном оставшемся в живых после 1908 года «питерцев» — Саше Охтинском.

Бурные события февраля-марта 1907 года, которые последовали за приездом петербургских боевиков и были связаны с чередой вооружённых сопротивлений полиции, ранением Иллариона Паршенкова (Демона), арестами Дмитрия Савельева (Сибиряка), Ивана Смирнова (Сочня) и других, Аркадий Петрович описал крайне искажённо, настолько, что из позднейших критиков только хорошо знакомый с материалом человек, вроде А. Никитина, смог определить, где и о чём идёт речь. Кроме того, между главами, касающимися этого периода — «Схватка», «Раскрытое предательство», «Под покровом ночи»³⁴, — автором была вставлена глава об экспроприации в Хохловке, состоявшейся 12 мая 1907 года, и полуанкдотическая сцена с прикуриванием папиросы³⁵.

В тоже время близкой к реальным событиям Гайдар сделал главу об экспроприации на пароходе «Анна Степановна», которая произошла в ночь на 3 июля на Каме близ села Новоильинского. Всего нападавших, как и писал Аркадий Петрович, было 12 человек, но руководили группой Михаил Гресь (Гром) и Михаил Горшков (Максим), а не Василий Панфилов (Ястреб). Экспроприация проводилась при поддержке местных эсеров, Лбов участвовал только в планировании. Обе женщины-террористки — Ангелина Тихонова и Мария Миславская — и в самом деле были членами ПСР. На пароходе действительно находился пристав 3-го стана Оханского уезда Горобко, исполнявший свои обязанности первый день. Его везде разыскивали боевики, кричавшие

обезумевшим пассажирам: *«Господа, не бойтесь, мы вас не пошевелим. Нам нужна полиция и деньги для освобождения вас»*. Попытки потопить шлюпку с певшими в ночной мгле «Марсельезу» экспроприаторами со стороны команды парохода не было, но такая возможность много обсуждалась в газетах. Именно поэтому помощник капитана и машинист были арестованы, их подвержали в сотрудничестве с террористами. Автор повести упомянул о гибели нескольких человек. Действительно, боевики убили фельдфебеля в форме восточносибирских стрелков³⁶ и полицейского урядника, тюремный надзиратель скончался позже от ран. Но Гайдар не сообщил своим читателям, что экспроприаторы застрелили ещё и матроса Пётра Малькова³⁷, ранили двух крестьян и капитана парохода Николая Матанцева. Ради справедливости стоит отметить, что адрес семьи матроса, которого они считали напрасной жертвой, был записан боевиками, а жене капитана и ему самому они принесли извинения.

Не пишет Гайдар и о другом интересном факте, упоминавшемся в газетах: *«После «трудов» грабители-убийцы захотели закусить и выпить, для чего отправились в буфет, но тот оказался запертым. Они стали стучаться и когда им отворили буфетную дверь, то предъявили требование «продать» им 2 бутылки хорошаго коньяку, 20 булок и колбасы. Получив требуемое, злоумышленники заплатили 6 руб., хотя буфетчик первоначально отказывался от денег, прося лишь «не трогать его»*³⁸.

Довольно близко к фактам описаны в повести и события, связанные с арестом и казнью Лбова. В Нолинске атамана действительно подвёл маузер. В марте для надёжности он был перевезён в Вятку, но власти всё равно опасались попыток освобождения государственного преступника, рассматривали вариант с подкопом, усиливали охрану, чтобы его не убили соратники, обеспокоенные тем, что он может начать говорить.

На суде Лбов держался мужественно. Однако после смертного приговора на некоторое время заколебался и написал про-

шение о помиловании на имя императрицы, о чём Гайдар умолчал. Этот факт подтверждается документами вятского губернского жандармского управления, однако оригинал прошения пока не найден, его тексты, опубликованные в газетах, несколько отличаются друг от друга. Прощение о помиловании считалось у революционеров малодушием, был даже специальный термин, обозначающий эту категорию людей — «прошенцы», именно этот факт, а не что-то другое, послужил основанием для переименования в 1953 году улицы Лбовской в Мотовилихе в улицу Восстания. Впрочем, о помиловании просили иногда и куда более известные революционеры, и это никого не смущало. В конце концов к моменту казни Лбов переборол себя, отказался от исповеди и даже не дал надеть на себя саван³⁹.

Кроме главных героев, выведенных на передний план, в повести действовали и несколько второстепенных персонажей, большая часть из которых также имела исторические прототипы. Среди них особое место занял соратник Лбова по фамилии Стольников⁴⁰, молчаливый и странный, который в итоге сошёл с ума. Он не принимал никакого участия в событиях повести и с художественной точки зрения был избыточен. Однако исторический Михаил Стольников был близким товарищем и родственником Александра Лбова, членом РСДРП, его отсутствие, конечно, вызвало бы вопросы читательской аудитории, многие из которых являлись современниками событий первой русской революции.

Стольников вынужден был начать скрываться от полиции раньше, чем Лбов. Ещё в октябре 1905 года он привлекался судебным следователем по делу об изнасиловании, не вполне ясно, в качестве обвиняемого или свидетеля. Как член нелегальной партии, интерес полиции к своей личности он мог связать с совершенно другими обстоятельствами. Поэтому, когда к нему явились стражники, он оказал им вооружённое сопротивление, ранив одного в живот, а другого в руку, после чего скрылся. По некоторым сведениям, во время декабрьских

событий в Мотовилихе он был в рядах милиции и после поражения вновь исчез. Примерно тогда же ушёл в лес Лбов. Весь 1906 год они, так или иначе, прожили вместе. Именно со Стольниковым Лбов провёл свою первую вооружённую акцию, зафиксированную документально: *«5 сего Мая на окраине селения Мотовилихинского завода, из леса, было произведено 3 выстрела в обывателя Николая Ширяева, который ранен в руку. Ширяев вызвался свидетелем и дал объяснения, что Лбов строил баррикады и в стрелявших опознаны Лбов и Стольников»*.

После поллазненской экспроприации, взбудоражившей губернские власти, Стольников был арестован, попав в засаду в одном из пермских домов 26 февраля 1907 года. До осени он просидел в Пермской губернской тюрьме, обвиняясь сразу по нескольким делам, там у него начали проявляться признаки умственного расстройства, но недостаток улик, а вовсе не этот факт стал причиной его освобождения из заключения.

Есть в «Лбовщине» и персонажи, выполняющие, казалось бы, сугубо инструментальную функцию развития сюжета — это Рита Нейберг и титулярный советник Чебутыкин. Но даже за ними стоят тени подлинной истории. О Рите из повести известно не так уж и много, ей было около двадцати лет, она закончила институт благородных девиц в Петербурге, очевидно, Смольный, была из семьи обеспеченного и влиятельного чиновника — управляющего канцелярией губернатора, жила в его доме на Оханской улице⁴¹ или в непосредственной близости от неё⁴². Вряд ли Гайдар наводил справки о правителе канцелярии губернатора господине Ивиницком, скорее всего, ему было неважно, была ли у него в реальности дочь, так ли богат и влиятелен он был, как персонаж его повести. Зато в документах, которые он просматривал, его мог заинтересовать имевший место в действительности факт. Неуязвимость лбовцев наводила правоохранительные органы на мысль об утечке информации из канцелярии губернатора, и кое-кого они в этом подозревали.

Титулярный советник Чебутыкин — фигура комическая, как будто сошедшая со страниц гайдаровских фельетонов, но и она позволила автору проиллюстрировать на живом примере реальный факт — Лбов не был простым грабителем, несмотря на собственные недостатки и моральную нечистоплотность некоторых своих товарищей, он действительно помогал бедным. Феофан Никифорович говорил об этом так: *«со службы меня выгнали за то, что лбовцы меня грабили всегда, а сам-то он, Лбов, когда узнал об этом, так мне завсегда поддержку оказывал, потому что жена у меня, ребятишки»*⁴³... И ему вторил доподлинный лбовец Пётр Перминов (Хищник) в своих чистосердечных показаниях полиции: *«Все денежные суммы, до отделения питерцев, поступали от экспроприаций к Лбову. Себе денег он не оставлял, а всё раздавал по тюрьмам или бедным или на похороны убитых»*.

III

В лагере, противостоящем «лесным братьям», тоже есть несколько персонажей, за которыми можно увидеть фигуры людей, живших или бывавших в Перми и Мотовилихе в начале 20 века. Так, за образом главного преследователя Лбова в повести, хорунжего Астраханкина, стоит целый ряд реальных людей. Прежде всего, это собственно хорунжий Александр Астраханкин — офицер 3-ей сотни 7-го Уральско-го казачьего полка, расквартированной в 1905 году в Мотовилихе. Именно это подразделение разгоняло не санкционированное властями собрание рабочих на Вышке 10 июля 1905 года, когда погиб Лука Борчанинов, а затем 12 и 13 декабря того же года участвовало в подавлении выступлений, через год квалифицированных Казанской судебной палатой как вооружённое восстание. Вскоре после этих событий сотня из Пермской губернии была выведена, а вместо неё в начале января 1906 года в Мотовилихе были расквартированы казаки 5-ой

сотни 17-го Оренбургского казачьего полка, их в свою очередь через полгода сменили драгуны.

Настоящий хорунжий Астраханкин никогда не охотился за лбовцами и не командовал «ингушами», три отряда которых были созданы губернатором на деньги, взятые из кредита на содержание полицейской стражи, только летом 1907 года. Название этих отрядов было условным, поскольку специальным циркуляром департамента полиции от 12 июня 1906 года за №4242 принятие на службу в полицейскую стражу ингушей формально было запрещено, поэтому чаще в них служили представители других народов Кавказа, к примеру, в Вятской губернии — чеченцы. В западных губерниях Российской империи подобные формирования, так же условно, именовали «черкесами».

Все три отряда первоначально были расположены в горнозаводской части губернии, только в августе 1907 года одному из них под командованием Арцу Бузуртанова⁴⁴, расквартированному в Богословском горном округе, довелось принять участие в поисках лбовцев, оперировавших в Верхотурском уезде. Вооружены «ингуши» были хуже, чем «лесные братья», в основном устаревшими однозарядными винтовками Бердана и кинжалами. Куда опаснее для лбовцев были дисциплинированные и оснащённые современным оружием роты и охотничьи команды регулярной пехоты и драгуны. В ноябре 1907 года, когда наиболее активные действия «лесных братьев» уже прекратились, один из отрядов «ингушей» был переведён в Пермь. Позднее часть из них несла конвойную службу. Именно ими 9 апреля 1908 года «при попытке к бегству» на станции Сылва были убиты следовавшие к месту заключения осуждённые лбовцы — Михаил Гресь (Гром) и Александр Смехов.

Интересно, что в пермском управлении Отдельного корпуса жандармов служил штаб-ротмистр с почти такой же, как у персонажа «Лбовщины», фамилией — Астраханцев, он тоже мог стать одним из прототипов хорунжего Астраханкина, но знал ли о нём Гайдар, неизвестно.

Гораздо больше сил и времени, чем Астраханкин, Астраханцев, Арцу Бузуртанов и ещё кто-либо, на поиски Лбова потратил пермский уездный исправник Антон Правохенский. Впервые он пересёкся с ним ещё в декабре 1905 года, будучи только помощником исправника, потом с сентября 1906 года и по конец апреля 1907 года он лично неоднократно участвовал в облавах на Лбова, арестовал почти всех его родственников, некоторых из них дважды, рисковал карьерой, здоровьем, возможно, жизнью, но в итоге из-за ряда провалов был переведён из Пермского уезда в Кунгурский, и даже попал под суд.

Начальнику Пермского охранного отделения подполковнику Самойленко-Манджаро охота за лбовцами тоже стоила карьеры, на почве борьбы с «лесными братьями» у него с губернатором А. Болотовым возникли разногласия, и уже осенью 1907 года, фактически после того, как главные усилия по подавлению лбовщины были сделаны, он был заменён на более послушного ротмистра Сизых.

Много времени в облавах провели драгуны 1-го и 5-го эскадронов 54-го Новомиргородского драгунского полка, включая таких офицеров, как поручик В. Каппель — будущий герой Гражданской войны со стороны белого движения, и ротмистр Н. Фокин — родной брат знаменитого балетмейстера, служивший впоследствии в Красной Армии.

Но никто из тех, кто действительно активно участвовал в подавлении лбовщины, Гайдаром в повести не упоминался, и это в некотором роде загадка, поскольку с отдельными бумагами Правохенского, Самойленко-Манджаро и Сизых он явно успел ознакомиться в архивах. Причин этого может быть несколько. Во-первых, никто из них, кроме разве что драгунских офицеров, не мог быть помещён в романтический треугольник с участием Лбова и Риты Нейберг, который был основным двигателем сюжета. Во-вторых, Гайдару и его читателям сложно было представить в роли трагического героя, отнюдь не лишённого положительных черт, начальника полиции или охранного отделения.

Отдельно стоит упомянуть об ещё одном прототипе Астраханкина — Яковлеве, поручике 231-го Котельнического батальона, охранявшего Лбова в Вятке. Именно невероятный для офицера поступок, совершённый им 15 апреля 1908 года, заставил Гайдара привести своего героя в Вятку⁴⁵. Яковлев, будучи командиром засадной роты, расположенной непосредственно в Исправительном арестантском отделении на случай нападения на него с целью освобождения заключённых, пользуясь положением старшего по званию, вопреки всем тюремным порядкам зашёл в камеру Семёна Леща (так в то время называл себя Лбов, скрывавший своё настоящее имя), при свидетелях обнял его и поцеловал, выразив сожаление о том, что он в кандалах. В разговоре Яковлев сообщил арестанту дату суда и некоторое время при закрытых дверях оставался с ним наедине. О происшествии было доложено в самые высокие инстанции, дальнейшая судьба этого офицера до настоящего времени не выяснена.

Кроме главного борца со лбовцами — Астраханкина, Гайдар несколько раз упоминал и других, среди них выделялся мотовилихинский пристав Косовский. Его вместе с хорунжим накануне решающих столкновений в Мотовилихе принимал губернатор, его убийство как одну из первоочередных задач обозначил сразу после приезда петербургских боевиков Лбов, наконец, на него же кем-то из сочувствующих «лесным братьям» было совершено неудачное покушение⁴⁶.

В годы первой русской революции в пермской уездной полиции служили два человека с похожей фамилией — пристав 4 стана Василий Косевич и помощник пристава селения Мотовилихинского завода Сигизмунд Косецкий⁴⁷. Первому иногда приходилось замещать уездного исправника, но в целом особого следа в истории его деятельность не оставила. Второй же, несмотря на менее высокую должность, сумел запомниться. Всего за год он сделал карьеру от старшего городского до помощника пристава, весьма быстро продвигаясь

по службе. Свои обязанности он исполнял рьяно, особое внимание уделяя борьбе с революционерами и сочувствующими им. В короткие сроки ему удалось создать собственную сеть осведомителей в Мотовилихе и нанести заметный урон революционному движению, за что от врагов он получил прозвище — Чёрт. Именно он 2 сентября 1906 года открыл дело о розыске Александра Лбова, до этого момента его поисками организовано никто не занимался.

Довольно скоро Косецкий обратил на себя внимание партийных боевых организаций, причём сразу двух — ПСР и РСДРП. Боевикам даже пришлось заключить соглашение о том, какая из дружин первой попытается его убить. Жребий быть первыми выпал эсерам. 24 июля 1906 года ночью возле мотовилихинского театра они в упор стреляли в Косецкого, но крайне неудачно. Из восьми выстрелов только три попали в него, но не причинили никакого урона, повредив только пальто и сапог⁴⁸. Социал-демократы подготовились лучше и в ночь с 10 на 11 октября 1906 года убили помощника пристава из браунинга прямо в театре.

Не смог Аркадий Петрович обойти вниманием и фигуру губернатора, названного в повести Болтниковым, которого он охарактеризовал так: *«Был он стар, но был он по-своему и честен, и твёрд — это один из верных сторожей самодержавия, один из преданнейших слуг всероссийского государя императора»*⁴⁹. Гайдаровский начальник губернии — человек, готовый пожертвовать собой ради свершения правосудия — принципиальный классовый враг Лбова, с открытым забралом встречающий опасность.

Подлинный пермский губернатор Александр Болотов, в отличие от своего литературного дублёра, был далеко не стар, в 1908 году ему исполнилось только 42 года, но по складу характера близок к гайдаровскому определению. В самый разгар лбовщины в 1907 году он серьёзно заболел, но продолжал работать и ездить в командировки, в сентябре ему была сделана трепанация черепа, вызванная последствиями воспаления среднего уха, но уже в конце ноября

он вернулся к исполнению своих обязанностей. В отставку он подал лишь в декабре 1909 года. Пройдя фронты Великой войны и эмигрировав за границу вскоре после установления советской власти, свои дни он закончил в апреле 1938 года в монастыре Святого Пантелеймона на горе Афон в Греции, будучи монахом Амвросием⁵⁰.

С именем Болотова связана легенда о назначении крупной денежной награды за голову Лбова, которая получила отражение в повести. Действительно, губернатор, озабоченный бесконечными неудачами в борьбе с «лесными братьями», 19 июня 1907 года собрал у себя совещание всех важнейших служащих губернии, как гражданских, так и военных, с целью выработки плана по борьбе с нарастающей волной экспроприаций и террора. Через три дня по его итогам он направил в Петербург телеграмму своему начальнику, министру внутренних дел, в которой среди прочих мер предлагал привлечь к поискам «лесных братьев» местное население, а за доставку Лбова властям назначить вознаграждение в 5000 рублей.

После длительной паузы в начале ноября 1907 года в канцелярии губернатора получили ответ следующего содержания: *«...Департамент полиции, по приказанию Его Высокопревосходительства, имеет честь уведомить Ваше Превосходительство, что изложенное в депеше Вашей от 23 Июня ходатайство в части, касающейся издания объявления к населению с обещанием вознаграждения за выдачу или доставление разбойника Лбова, признано неудобным к осуществлению»*.

Издательство «Ad marginem» вслед за «Правдой» включило в текст повести в качестве ещё одной главы рассказ «Провокатор»⁵¹, желая тем самым усилить и без того акцентированную автором в образе «жидовки» тему предательства⁵². В её лице Гайдар объединил черты сразу нескольких женщин. Некоторые из них известны, одна же до сих пор остаётся неразоблачённой. О первой из них, остающейся incognito, 10 ноября 1906 года сообщал пермский уездный исправник Антон Правохенский в рапорте

губернатору: *«...Женщина, которая ради получения ста рублей вознаграждения за указание Лбова, ещё 8 числа передавала Приставу, что Лбов в виду принимаемых мер к розысканию его в окрестных деревнях, скрылся за Каму ещё на истекшей неделе. <...> В настоящее время остаётся верить лишь только означенной женщине, которая вечером 9 сего Ноября передала Приставу, что Лбов в числе одного или двух человек находится на правом берегу реки Камы, в пределах Оханского уезда, около 6 вёрст от Мотовилихинского завода, в одной из избышек, находящейся вблизи речки, кажется, под названием Гайвы. По словам женщины обыск в ночь на 9 Ноября в Мотовилихе произвёл сильный переполох, но с другой стороны, Лбов, узнавши о произведённом обыске, предполагая, что уже другого около не последует, обязательно после некоторого времени придёт в Мотовилиху к одному из своих родственников, а она, узнавши об этом, даст знать точно и определённо, у кого именно из родственников он находится»...*

Другим прототипом «женщины», как верно отметил А. Никитин⁵³, стала жена Ивана Смирнова (Сочня) — Александра Смирнова. Вместе с мужем они были арестованы полицией в Перми 18 февраля 1907 года, вскоре Александра согласилась на сотрудничество с правоохранительными органами. Именно она указала на то, что Лбов с товарищами будет ночевать в доме Фердинанда Витте, позже взятом штурмом полицией и драгунами. Об этом сохранился безусловно подтверждающий этот факт полицейский документ: *«Лбов, Гром, Пищулёв, Ваня Морж и Ястреб сегодня ночуют в Мотовилихе у старика Витте, в этом доме была сегодня Смирнова и виделась, а от них приехала прямо сюда около 10 вечера. Пробыдут они до 6 ч. утра»...*

В рядах осведомителей полиции оказалась и жена одного из двоюродных дядей Лбова — Василия Игнатьевича — Елизавета Сергеевна Лбова. В ноябре 1906 года она так же, как позднее и Смирнова, согласилась на сотрудничество, после того как её мужа,

как и вообще всех прочих близких родственников Александра Лбова и Михаила Стольников, арестовали в порядке охраны. И хотя никаких серьёзных сведений, в отличие от Александры Смирновой, она сообщить полиции не смогла, 7 июня 1907 года лбовцы в отместку её ранили. Куда более серьёзные последствия после победы революции ждали Александру Смирнову, после вынесения приговора суда в 1918 году её расстрелял собственный муж, вернувшийся из Сибири.

Есть в «жидовке» и черты любовницы Лбова — Апполинии Беяковой (Беячихи). Н. Чердынцев намекал⁵⁴, а В. Семёнов прямо пишет о том, что она была агентом полиции, но ни тот ни другой не приводят убедительных доказательств⁵⁵. Между тем факты свидетельствуют о том, что правоохранительные органы видели в Беяковой скорее соратницу Лбова, которая выполняла его поручения по доставке еды, оружия, вышивала надписи на знамёнах и пр.⁵⁶ 27 октября 1907 года она была арестована, на суде по делу 59 лбовцев виновной себя не признала и сказала, что Лбова не знает.

Остаётся только догадываться, почему автор дал такое прозвище отрицательной героине своей повести. Как справедливо указал А. Никитин, упоминаний об агенте охранного отделения с кличкой «Жидовка» в документах не найдено, хотя Гайдар и утверждал обратное⁵⁷.

Есть среди противников Лбова в повести персонаж, который стоит особняком — это Евно Азеф, который приезжал в Пермь, чтобы повидаться со Лбовым и рекомендовал ему боевика Белоусова, завлёкшего позже атамана в засаду в Нолинске. Здесь Гайдар воспроизвёл уже тогда широко распространённую легенду о предательстве Лбова Азефом⁵⁸. Из всех авторов, писавших о лбовщине, только двое безусловно разделяют версию о провокации Азефа в этом деле. Ф. Мельников приводил ссылку на воспоминания эсера Дементьева о встрече члена ЦК ПСР Азефа, специально приезжавшего в Мотовилиху для ознакомления с движением лбовцев⁵⁹. В. Семёнов ссылается на письмо

большевика Б. Шалаева журналисту Б. Назаровскому о том, что в 1910 году он слышал об этом рассказ своего брата, который тот, в свою очередь, слышал от своих товарищей реалистов⁶⁰.

Воспоминания не случайно считаются в среде профессиональных историков самым ненадёжным источником. Никакого подтверждения в документах охранного отделения, полиции, жандармерии, прокуратуры, судов, канцелярий пермского и вятского губернаторов, других государственных органов эти сведения не находят. Из членов ЦК ПСР в 1907 году в Пермскую губернию для встречи с «лесными братьями» приезжал только Н. Чайковский, что подтверждается не только воспоминаниями других эсеров, но и его собственными письмами того времени и, главное, документами охранного отделения. Кроме него, осенью того же года на Урал приезжал другой видный член ЦК ПСР — В. Чернов, но о его встречах с «лесными братьями» не упоминается. Тем не менее, многое косвенно связывало Лбова и Азефа через третьих лиц, и окончательно сбрасывать эту версию со счетов не стоит.

IV

К моменту написания Гайдаром повести «Жизнь ни во что» Лбов уже был и литературным, и фольклорным персонажем, соединившим в себе представления о добром разбойнике, герое подполья и Фантомасе⁶¹, а для журналистов, посещавших Пермь в начале 20 века, он даже стал своеобразной достопримечательностью⁶². Попытка Гайдара расколдовать его, сделать из него реального человека была принята публикой благожелательно, она хотела знать о Лбове больше, и автор отчасти удовлетворил её любопытство, используя для этого востребованную художественную форму авантюрного повествования.

Аркадий Петрович пошёл дальше своих литературных предшественников и успел неплохо ознакомиться с событиями декабря 1905 года, рассказы о которых осенью

и зимой 1925 года публиковались в «Звезде», смог довольно подробно изучить экспроприации в Хохловке, на пароходе «Анна Степановна», арест и казнь Лбова. Но на более детальное изучение документов эпохи ему не хватило времени. Параллельно с написанием повести он продолжал регулярно публиковать в «Звезде» свои фельетоны и другие журналистские работы, нужно было уделять время и семье. Это не могло не сказаться на художественном качестве повести, в основном второй части, и её исторической достоверности.

Гайдар не успел создать для себя хронологии лбовщины. В тексте повести он использовал всего две даты — 13 декабря 1905 года и март 1907 года. Историческое время предстало у него неопределённым потоком, в котором в порядке, установленном автором, появлялись тени тех или иных событий и выхваченные по служебной надобности из разных мест реальные персонажи. Из-за слишком творческой переработки архивных материалов и воспоминаний Гайдар стал объектом критики со стороны руководителя пермского бюро истории партии К. Ольховской, которая не раз высказывала замечания в его адрес за вольное обращение с фактами⁶³. Но даже она, кажется, не обратила внимание на то, что в повести ни одним словом не были упомянуты главы пермского комитета

РСДРП в 1906-1907 годах — Яков Свердлов (Михалыч) и Фёдор Сергеев (Артём).

Кое-где молодому автору не хватило и общих знаний об эпохе. Заставший последние дни Российской империи ещё подростком, он смутно представлял себе её повседневную жизнь и структуру её многочисленных органов управления. Он не видел разницы между III отделением, прекратившим своё существование задолго до революции, и охранным отделением, не понимал, чем отличаются полицейские от жандармов и т.п.

И всё же, несмотря на многочисленные недостатки, повесть удалась. Это случилось не только благодаря фактуре, которую использовал автор. На том же материале коммерчески успешный П. Дудоров не смог в 1910 году написать по-настоящему увлекательной и даже просто хорошо продаваемой книги. Гайдар заразил читателей своим искренним пафосом, дал им настоящего революционного и в то же время романтического героя, обаял их, пусть и несколько нарочитой, красотой языка⁶⁴. В повести не было счастливого конца, но в 1926 году все и так хорошо понимали, что герой не умер напрасно, и ждали продолжения начатой линии, которое последовало уже через год, когда другая газета — «Уральский рабочий» опубликовала новую повесть автора о «лесных братьях» — «Давыдовщину».

¹ Кудрин А.В. Образ А. Лбова в неопубликованных воспоминаниях современников. Эпизоды // Мотовилиха: открывая новые страницы: тезисы докладов научно-практической конференции. Пермь: Пушкин, 2011. с. 111-112.

² Дореволюционный журналист И. Ларский так писал об этом: «Возбуждает вообще ошеломленную впечатлительность тот ореол массовых сказаний, легенд, который всюду сопровождал Лбова и, как к непостижимому фокусу, отражался к нему отовсюду, от всех слоёв населения. Народные массы группировали около имени известного экспроприатора свои небуденные, не скучные мысли, с явным сочувствием следили за его подвигами...». См. Ларский И. На родине. Анархизм протонародный // Современный мир. 1908. № 6. с. 128-129.

³ См. Кудрин А. Лбовщина до «Лбовщины». Досоветская художественная литература о пермских «лесных братьях» // Вещь. 2013. № 7.

⁴ См. Пропт В.Я. Исторические корни волшебной сказки. М.: «Лабиринт», 2000. с. 96-97.

⁵ Этот момент прекрасно прочувствовал Н. Чердынцев: «Приверженность Лбова к смутно воспринятому социалистическому идеалу чисто механически соединялась с практикой, переносящей нас в незапамятную старину, в эпоху «добродетельных разбойников» доброго старого времени, наводивших ужас на богачей и помогавших беднякам». См. Чердынцев Н. Лбов (из уральской хроники) // Современник. Кн. 9. 1911. с. 202.

- ⁶ «Санин» — роман М.П. Арцыбашева, впервые опубликованный в 1-5 и 9 номерах журнала «Современный мир», проповедовал крайний индивидуализм, эротизм, отрицание общественного долга и участия в политике.
- ⁷ Гинц С.М., Назаровский Б.Н. Аркадий Гайдар на Урале. Пермь: «Пермское книжное издательство», 1968. с. 33-34.
- ⁸ «Пинкертонщица» — один из популярных и коммерчески успешных низких жанров литературы начала XX века, назван по имени главного героя одного из первых произведений — сыщика Ната Пинкертон.
- ⁹ См. Гинц С.М., Назаровский Б.Н. Указ. соч. с. 27-29.
- ¹⁰ Там же. с. 35.
- ¹¹ «Месс-Менд, или Янки в Петрограде» (1923) М. Шагинян, писавшей под псевдонимом Джим Доллар, «Трест Д. Е. История гибели Европы» (1923) И. Эренбурга, «Гиперболоид инженера Гарина» (1927) А. Толстого.
- ¹² См. Никитин А.Г. Послесловие // Гайдар А. Лесные братья. Ранние приключенческие повести. М.: «Правда», 1987. с. 403.
- ¹³ См., например, Степняк-Кравчинский С. Подпольная Россия: сборник статей, рассказов и стихотворений, до сих пор печатавшихся за границей. С-Пб. Изд-во «Ясная Поляна», 1907.
- ¹⁴ Подробнее см. Могильнер М. Мифология «подпольного человека»: радикальный микрокосм в России начала XX века как предмет семиотического анализа. М.: «Новое литературное обозрение», 1999.
- ¹⁵ Подробнее см. Борьба за власть. Т.1. Дни неоконченной борьбы. Перм. Губ. Ком. РКП (б). Бюро Истпарта. 1923.
- ¹⁶ См. Гайдар А. Жизнь ни во что (Лбовщина). Пермь / Москва: «Пиотровский» / «Ad marginet», 2011. с. 8.
- ¹⁷ Борчанинов А.Л. Свидетельство участника вооружённого восстания в Мотовилихе // Первая русская революция: сто лет спустя. Тезисы и материалы научно-практической конференции 22 декабря 2005 года. Пермь, 2006. с. 78.
- ¹⁸ При работе над статьёй использовались материалы Государственного архива Российской Федерации, Государственного архива Пермского края, Пермского государственного архива новейшей истории, Государственного архива Кировской области.
- ¹⁹ См. примечания в Гайдар А. Лесные братья. Ранние приключенческие повести. с. 10.
- ²⁰ Гайдар А. Жизнь ни во что (Лбовщина). с. 30.
- ²¹ См. Там же. с. 35.
- ²² См. Там же. с. 113.
- ²³ См. Чердынцев Н. Указ. соч. с. 204-205
- ²⁴ В одном из архивных дел Государственного архива Российской Федерации есть такая запись: «Этот Николаев говорил мне, что у него во время ареста нашли маузер, а 10 штук 3-х линейных винтовок и пулемёта с двумя лентами не нашли и всё это по сие время находится запрятым там, где он жил за Невской заставой. Затем добавил, что это тот самый пулемёт, который был дан в организацию эсдекам от группы террористов-экспроприаторов».
- ²⁵ Гайдар А. Жизнь ни во что (Лбовщина). с. 81.
- ²⁶ См. Там же. с. 50; 65.
- ²⁷ В архивах также встречаются названия «Революционный пермский партизанский отряд», «Пермский летучий партизанский отряд» и т.п.
- ²⁸ В начале 20 века в России существовала государственная монополия на розничную продажу водки. Деньги, полученные таким путём, шли непосредственно в казну. Именно поэтому, а также потому, что революционеры считали, что правительство сознательно спавивает народ, казённые винные лавки часто являлись объектами экспроприации.
- ²⁹ Сиделец, сиделица — обиходные названия продавцов казённых винных лавок.
- ³⁰ Гайдар А. Жизнь ни во что (Лбовщина). с. 28.
- ³¹ Использование лбовцами птичьих криков для условных сигналов факт подлинный. В обвинительном акте по делу 59 лбовцев есть упоминание о том, что Иван Смирнов (Сочень) практиковал в качестве условного сигнала подражание голосу кукушки.
- ³² Гайдар А. Жизнь ни во что (Лбовщина). с. 36.
- ³³ См. Сергеев А.А. Патронная мастерская и вооружённое сопротивление 1905-1908 гг. // Первая боевая организация большевиков. 1905-1907 гг. Москва: «Изд-во «Старый большевик», 1934. с. 141.

³⁴ Эта глава была выделена в тексте в более поздних переизданиях повести, в 1926 году она была частью главы «Раскрытое предательство».

³⁵ В архивных материалах нигде не встречается упоминаний о том, что Лбов курил.

³⁶ По другим сведениям артиллерийский вахмистр.

³⁷ В газетах его называли Пётр Маяков.

³⁸ В работе над статьёй использованы материалы следующих газет: «Пермские губернские ведомости», «Вятский вестник», «Вятская речь», «Судоходец» и др.

³⁹ Казнь реального Лбова состоялась в ночь с 1 на 2 мая 1908 года, а не в марте, как писал Гайдар.

⁴⁰ В газетном варианте и первом издании «Жизни ни во что» в 1926 году этот персонаж именовался Стрельниковым.

⁴¹ Интересный поворот судьбы — теперь это улица Газеты «Звезда».

⁴² См. Гайдар А. Жизнь ни во что (Лбовщина). с. 11; 16; 39; 65.

⁴³ Там же. с. 107.

⁴⁴ Возможно, Арцу Бузуртанов был участником Русско-японской войны, во всяком случае, есть данные о том, что старший урядник с таким именем и фамилией в 1904 году был награждён знаками отличия Военного ордена св. Георгия 4-ой степени за № 2720 и 3-ей степени за № 371.

⁴⁵ Гайдар А. Жизнь ни во что (Лбовщина). с. 112-113.

⁴⁶ См. Там же. с. 10-11; 34-36; 45.

⁴⁷ См. Рязанов С.М. Антигерой революции С.Ф. Косецкий // Смышляевский сборник: исследования и материалы по истории и культуре Перми. Вып. 4. Пермь, 2012. с. 94-100.

⁴⁸ Революция 1905-1907 г.г. в Прикамье. Молотов, 1955. с. 295.

⁴⁹ Гайдар А. Жизнь ни во что (Лбовщина). с. 107-108.

⁵⁰ Быстрых Т.И. Болотов Александр Владимирович. 1905-1909 // Популярная энциклопедия Пермского края: Сб. полезных краевед. сведений. Пермь, 2006. Т. 1 с. 122-123.

⁵¹ См. Гайдар А. Жизнь ни во что (Лбовщина). с. 98-102; Гайдар А. Лесные братья. Ранние приключенческие повести. с. 84-88.

⁵² В 1926 году одна из глав повести называлась «Странное появление «жидовки». Позднее это прозвище было заменено в тексте на нейтральные слова «еврейка» и «женщина», а глава стала называться «Странное появление чёрной женщины».

⁵³ См. примечания в издании Гайдар А. Лесные братья. Ранние приключенческие повести. с. 59.

⁵⁴ В статье она называется Марухой, причём это прозвище использует только автор, в архивных документах она лишь изредка именуется Белячихой. См. Чердынцев Н. Указ. соч. с. 219-220.

⁵⁵ См. Семёнов В.Л. Революция и мораль (Лбовщина на Урале). Пермь: изд. Богатырев П.Г., 2003. с. 168-169.

⁵⁶ В архивных документах несколько раз упоминается, что лбовцы проводили свои акции под красными знамёнами с надписями «Война за землю и волю», «Вы жертвою пали в борьбе роковой» и др.

⁵⁷ См. примечания в издании Гайдар А. Лесные братья. Ранние приключенческие повести. с. 42.

⁵⁸ О возможном происхождении легенды см. Кудрин А. Лбовщина до «Лбовщины». с. 109.

⁵⁹ Мельников Ф.Е. Западный Урал в революции 1905-1907 г.г. ОГИЗ. Молотовское областное издательство, 1946. с. 129.

⁶⁰ Семёнов В.Л. Указ. соч. с. 170.

⁶¹ Фантомас — легендарный преступник, созданный воображением французских писателей Марселя Аллена и Пьера Сувестра в 1911 году.

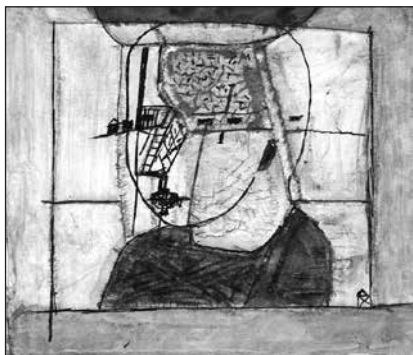
⁶² См. например, Пассе В.А. По Европе и России // По Каме и Уралу: путевые заметки XIX — начала XX века. Пермь, 2011. с. 240-256.

⁶³ Гинц С.М., Назаровский Б.Н. Указ. соч. с. 129.

⁶⁴ С. Гинц и Б. Назаровский Б.Н. упрекают Гайдара за увлечение «красивостями». См. Там же. с. 148.

Ольга Ловцова

Подросток как проблема в пьесе Александра Югова «Контакт»



Для современной драмы фокусировка на детских и подростковых психологических проблемах, травмах и фобиях традиционна. Пьеса пермского драматурга Александра Югова «Контакт», опубликованная в литературном журнале «Вещь» №4 в 2011 г., написана в рамках документального театра с элементами жанра комедии положений. Однако своей атмосферой, сосредоточенностью на фигуре ребенка и проблематикой «Контакт» напоминает и пьесы, например, «театра жестокости», что подтверждает и еще раз обозначивает восприятие отечественными и зарубежными драматургами молодого человека как проблемы современного мира.

Центральной для пьесы «Контакт» становится такая подростковая проблема, как поиск контакта с собой, другим человеком и миром. Действующие лица — четверо ребят в возрасте 13-15 лет, знакомые между собой благодаря социальной сети «ВКонтакте», ведут на протяжении пьесы диалоги, как реальные, так и виртуальные. Согласно технике вербатим, ткань драматического произведения образована одиннадцатью сценами — «фотографиями» речи героев. В сценах пьесы прослеживается логика самораскрытия героя.

Из предваряющего сцены пьесы текстового блока, выполняющего функцию афиши пьесы, можно сделать весьма скудные выводы о героях, поскольку рассуждения о себе Ани,

Макса, Дэна и Ксю явственно напоминают воспроизведенную вслух краткую информацию, традиционно размещаемую тинэйджерами на страницах в социальной сети. Подобные анкетные данные отличаются клишированностью, безликостью и штампованностью:

«АНЯ. <...> Еще я люблю все мягкое, белое и пушистое, пляж, духи, мягкие игрушки, а особенно медвежат и шоколад»¹. [С. 55]

Ощущение виртуальности, искусственности измерения, в котором существуют дети, подчеркнуто присутствием ноутбуков на сцене и постоянной погруженностью ребят в компьютерный мир. О том, что диалоги герои пьесы ведут, лишь изредка оборачиваясь к своему собеседнику от монитора, свидетельствуют ремарки, предваряющие сцены пьесы:

Сцена первая.

«В интернет-кафе. Ксю и Аня за ноутбуками. Не смотрят друг на друга».

Сцена третья.

«У Дэна. Дэн и Максик за ноутбуками, бродят по страничкам девчонок».

Сцена четвертая.

«Ксю за компом. Аня заглядывает в монитор к Ксюхе».

Сцена седьмая.

«Дэн и Макс за ноутбуками».

Но Интернет становится для подростков не коммуникативным каналом, не информационным ресурсом, а пространством социокультурной изоляции, хотя не всеми героями это и осознается:

«АНЯ. <...> А тебе зачем 735 друзей? Ты со всеми дружишь? Они все — твои друзья?

МАКСИК. Ну, не все, конечно. Кто-то — просто, чтобы под рукой был, на всякий случай.

Кто-то — знакомый моего знакомого.

АНЯ. А друзья у тебя есть? Или друг?

МАКС. В смысле, пацаны, что ли?

АНЯ. Друг, говорю!

Пауза» [С. 60]

Паузой в данном диалоге маркируется попадание вопроса Ани в болевую зону Дэна, которому впервые в жизни приходится задуматься о том, что такое настоящая дружба. Из путанных, скомканных рассуждений мальчика, последующих после паузы, становится ясно, что он совершенно одинок. Одной лишь ремаркой А. Югову удается обнажить глубинную психологическую проблему подростка: из-за отсутствия эмоционально насыщенных отношений, которых не предполагает переписка в социальной сети, Макс не знает цены дружбе.

Отрицает здоровые межличностные отношения и героиня Ксюша:

«КСЮ: Прикидываешь, за сегодняшний день — 27 штук.

АНЯ: Ничес-с-с!!!

КСЮ: Ну да. Я сама обалдела. Я всех добавила.

АНЯ: Зачем?

КСЮ: А пусть будут. Посмотрим, че за пацаны. Достанут — выкину их из друзей и все».

[С. 64]

¹ Югов А. Контакт (пьеса). // Вещь: Литературный журнал. 2011. №4. с. 54 — 70.

В жесточенности Ксю ощущается защита: ребенок, чувствующий себя одиноким, компенсирует свою травму, обесценивая процесс общения и возникающие коммуникативные трудности и проблемы, которые в нормальных условиях приходится каким-то образом решать.

На фоне Ксюши и Макса, полностью оторванных от реальной жизни, несколько контрастируют фигуры Ани и Дэна, которые пока что испытывают нехватку здоровых взаимоотношений, хотя интернет-общение постепенно поглощает и их. Оба героя находятся в состоянии балансирования между реальным и виртуальным миром, назвать успешными в среде сверстников их также нельзя: Аня и Дэн еще жаждут того варианта взаимоотношений, который уже обесценен их друзьями, вследствие чего подростки обречены на одиночество. Еще одна проблема, которой касается пермский драматург — выживание ребенка, чем-то отличающегося от ровесников, в тинэйджерском сообществе, иначе говоря, это проблема социальной мимикрии.

Кроме того, во второй, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой сценах герои находятся в одиночестве. В пьесе, несмотря на заглавие «Контакт», изображено бытие подростков в коммуникативном вакууме. Восприятие юных героев пьесы как тотально одиноких обостряется еще и отсутствием авторской позиции, что характерно для документального театра.

Весьма показательно, что среди действующих лиц нет фигур взрослых, ни в одной из сцен пьесы нет упоминания подростками авторитетных людей, на которых ребята могли бы опереться и ожидать поддержку и заботу. В пьесе нет ни одного героя, который бы помогал детям самоопределиваться, повзрослеть, найти путь к себе, преодолеть одиночество.

Одиночество героев порождает их постоянную настороженность, несформированность базового чувства безопасности, недоверие к миру и другим людям:

«КСЮ: Это же «Контакт»? Еще не известно — кто там на самом деле. Может, уроды какие-нибудь». [С. 64]

Так же в пьесе А. Югова отсутствуют и книги, которые могли бы стать воспитательным источником, поскольку общаясь с книгой, подросток приобретает хотя бы косвенный жизненный опыт.

Именно закапсулированность героев обуславливает их склонность к эскапизму и социальную инфантильность, неготовность решать какие-либо проблемы, связанные с общением.

Проблема дифференциации социальных ролей героев постепенно раскрывается от сцены к сцене. Герои остро ощущают потребность проживать несколько социальных ролей, т.к. личность человека многослойна, но, не имея возможности реализоваться в действительности, подростки вынуждены проигрывать эти роли в социальной сети. Дети решают эту проблему, создавая себе по несколько аккаунтов в «ВКонтакте», где по-разному позиционируют себя. Так, ряд личных страниц на сайте становится вариантом многообразия социальных ролей, образующих в итоге единую сложную и многогранную личность:

«АНЯ: Я меняю аватарки, только когда у меня настроение меняется, ясно?» [С. 59]

«ДЭН: Познакомился с одной блондиночкой.

МАКСИК: Малолеточкой?

ДЭН: Я серьезно!

МАКСИК: Прикол! Ты че, изменил Ксюхе?

ДЭН: Нет, конечно. Я с другой страницы вышел на нее.

МАКСИК: Че? У тебя есть другая страница?

ДЭН: А у тебя нет, что ли?

МАКСИК: Есть в принципе...» [С. 65]

Данный диалог можно считать завязкой сюжетного витка, написанного в духе комедии положений, поскольку девочкой, с которой переписывается Дэн со «второй» страницы, оказывается его же подруга Ксю, выдающая себя за другого человека. Так, общаясь с Ксюшей-Катей герой постепенно приходит к выводу о том, что он больше не может и не хочет прятаться от самого себя, придумывая себе в Интернете ложное имя и ложную историю жизни.

В финальных сценах пьесы ребята изображены наедине с собой. Герои вновь рассуждают о своей виртуальной жизни, но в отличие от монологов, предваряющих сцены, позиция подростков меняется. Так, поиск «контакта» с собой увенчивается успехом у Дэна, который принимает себя и решает выстраивать отношения с людьми в реальном мире, а не виртуальном:

«ДЭН: <...> «ВКонтакте» мы все от реальности съебываемся куда-то. Все время убегаем куда-то. <...> Сегодня я удалил страницу Дэна. Теперь я просто — Иван. Посмотрим, что будет дальше!?!». [С. 70]

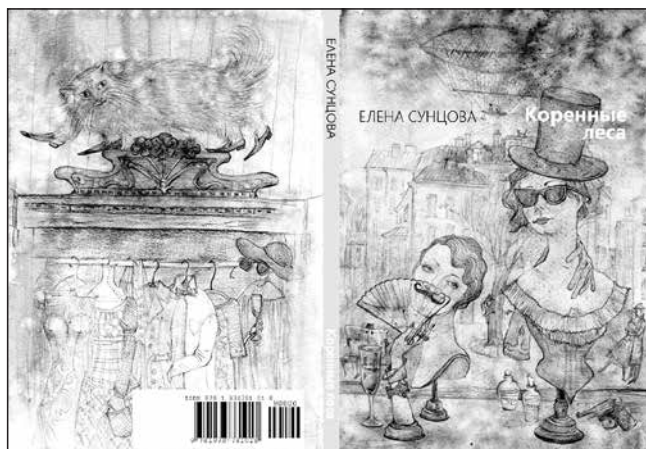
Пытаются выпутаться из всемирной паутины и другие герои пьесы:

«АНЯ: Человек «ВКонтакте» и человек реальный — это разные вещи, я поняла. <...> Макс мне вчера розу подарил. Я не поняла вообще ничего, но приятно было, честно». [С. 69]

Переживание новых, как положительных, так и отрицательных эмоциональных ощущений, ранее не знакомых подросткам, анализ собственной модели поведения, и, в конечном итоге, осознание проблемы — это те первые шаги, которые делают герои пьесы А. Югова на сложном пути к самим себе. Финал пьесы «Контакт» выглядит обнадеживающим и светлым, хотя герои и не покидают пространство социальной сети. Но они переживают то, что можно назвать дифференциацией социальных ролей: страничка в социальной сети должна оставаться в Интернете, а человек — проживать реальную жизнь, насыщенную, интересную и эмоциональную.

А. Югов создал пьесу не о вреде Интернета и виртуального общения, а об одиночестве современного подростка, оставленного взрослыми на попечение технике, о ребенке, ищем себя, пытающемся обрести социальную и экзистенциальную идентичность.

Елена Сунцова и ее «Коренные леса»



В распоряжении редакции оказались две рецензии на книгу живущей в Нью-Йорке нижнетагильской поэтессы Елены Сунцовой. Критические оценки «Коренных лесов» не просто разнятся, а имеют ярко выраженную полярность. Редакция решила опубликовать обе точки зрения, создав новую рубрику «За и против», которая, как мы надеемся, станет традиционной.

Ольга Ловцова

Вглубь «Коренных лесов»...

Заголовочный комплекс книги стихов Е. Сунцовой «Коренные леса» закономерно порождает ассоциации, связанные с символами и образами, устойчивыми в прямом смысле этих слов. Стихотворениям, вошедшим в сборник, свойственна прочная укоренённость в мировом поэтическом ландшафте и первородность. Но обращение к истокам не балласт, придающий слову Е. Сунцовой тяжеловесную основательность, а ресурс для свободного поэтического экспериментирования.

Возврат к корням осуществляется на различных уровнях поэтической Вселенной Елены Сунцовой: языковом, образном, интертекстуальном. В «коренных лесах» мирно уживаются и причудливо перерождаются образы античной мифологии и фигуры поэтов первой волны эмиграции, и даже герои их произведений (Размахайчики, например, — герои поэмы «Распад атома» Г. Иванова), и современники Елены Сунцовой, которым посвящены некоторые тексты. В стихотворениях двоятся, троются лирические герои, женский голос неожиданно сменяется мужским, иные стихотворения принципиально безличны, абсолютно бестелесны и неуловимы, словно вздох, благодаря чему создается ощущение, что субъект речи не человек, а космос. Отличительной чертой стихотворений, вошедших в данную книгу, становится спаянность современности и конкретного географического положения с вечностью-безграничностью и их взаимопроникновение. Размытостью временных границ обусловлена усложненность хронотопа книги «Коренные леса»: время в книге дробится, множится, то и дело соскакивая со своей оси:

*«Бродский и Рейн лезут через забор
женского общежития университета*

*Аполлон забивает сваи
яблочком квохчет лира
коты
наголоватые твари рая
вздевают морды
рычат
как чугунные пушки-единороги
скверное зрелище
если не знать что
рай есть
основа звериного идиотизма
в поте лица зарабатывать свой хлеб*

*Бродский и Рейн сливаются
с перспективой
о моя жизнь бесплодна...»
(Бродский и Рейн гуляют по
темпераментам) [с. 72]*

В слиянии сиюминутного и вечного, реального и мифологического, в постоянных хронологических сбоях, открывается текучесть бытия, в круговорот которого вовлечен поэт. Восприятием жизни как непрерывного, циклического потока и объясняется столь частое обращение к образам воды и различным вариантам этого образа в книге стихов с «земным» заглавием: ручей, океан, море, лед, озеро. Так, вода — это одновременно пространственный и временной образ. В него стянуты и представление об океане, отделяющем Е. Сунцову от оставленной России, и о реке жизни, и мифологическом Стиксе, по которому Харон в ладье перевозит души умерших. Вода — образ глубоко архетипичный, в нем географическое измерение переводится в пространство авторского мифа:

*«Елуроморфный кит
вдоль берега плывет,
где на него глядит
печальный оцелот.*

*Не видит он в упор
ни прутьев, ни воды,
а видит только гор
пологие хребты.*

*Вокруг кита юлят,
как плавники акул,
вершины сотен яхт,
и глушит моря гул.*

*Но вопли сытых ар,
енотов волоски
и нежных капибар
копытец лепестки*

*Такая есть печаль
Офелия и тот
в чернильнице февраль,
что тонет оцелот» [с. 64]*

Помимо воды, в книге функционирует ряд образов, также глубоко символичных по своему звучанию и значению. Поэтическая Вселенная «Коренных лесов» складывается из таких первоэлементов, как вода, тьма, свет, звезды, земля, горы, луна, ветер, слово. Этот мир рождается прямо на глазах читателя, он еще не причёсан, дик и естественен. А человек в этом мире еще только учится говорить, поэтому стихотворения столь часто обрываются или звукоподражанием, или недоговоренностью. В стихотворениях Сунцовой под коренными лесами подразумеваются и современные небоскребы Нью-Йорка, и сеть улиц и проспектов Санкт-Петербурга, и урбанистические пейзажи современных городов с их особым ритмом и звучанием, и даже виртуальное пространство, в которое прорастает автор книги. Нагромождение пространственно-временных образов создает иллюзию всемирности в стихотворениях Елены Сунцовой:

*«Бродский и Рейн гуляют
по темпераментам
То есть Венеции
Ленинграду
Нью-Йорку
Норенской» [с. 72]*

Поэтический локус современного поэта конструируется не только из деталей конкретного времени и конкретного пространства, но и в лучших традициях постмодернизма — из обломков артефактов мировой художественной культуры, цитат, осколков чужих стихотворений, переключек с поэтами прошлых эпох. Благодаря этому к панораме вещного, предметного мира подключается ощущение надмирности бытия поэта, его существования в пространстве гипертекста, образованного множеством текстов, относящихся к различным эпохам, традициям и тенденциям. Мир «Коренных лесов» крайне условен, его можно втиснуть в книжный переплет:

*«Город, похожий на стеллаж
Серой библиотеки
Не обращает вниманья — жизнь
Вне этой картотеки» [с. 50]*

Нередко в книге стихов встречаются стилизации под фольклорные жанры, придающие стихотворениям игровую природу. Так динамичный ритм детской считалочки оживает в стихотворении «Мало прошлого душе...»:

*«Мало прошлого душе
вовсе высохло саше:*

*капли из веселых глаз
увлажняли и не раз*

*но назло незлой зиме
весь истаял пар фюме.» [с. 37]*

Игровая стратегия — явление характерное для поэтики Е. Сунцовой, языковая игра для художника становится инструментом познания, структурирования и упорядочивания мира.

Особое место занимают ненавязчивые, но узнаваемые переключки с русской поэзией первой волны эмиграции. Но если в предыдущих сборниках стихов Елена Сунцова проводила параллели между судьбой поэтов-эмигрантов и деталями собственной биографии, то в «Коренных лесах»

эмигрантская лирика интерпретируется в ином ключе. Современный поэт, моделируя собственную картину мира, отсылает в своих стихотворениях к поздней лирике Г. Иванова, тем самым подключая культурную память читателя и открывая новые возможности для интерпретации своих текстов. Стихотворения, в которых явственно ощущается диалог с поэзией Г. Иванова, напоминают именно те стихи, которые вошли в абсурдистский цикл «Rayon de Rayonne». Эти стихотворения, подобно ивановским, строятся на эффекте обманутого ожидания, на основе логических перевертышей и разрыве связи между метром и смыслом стиха:

*«Гончар обновочке не рад
И хмур весьма гончар
Когда на светлый циферблат
Прет туча-янычар»* [с. 81]

(Ср. Г. Иванов. «Портной обновочку уютжит...»:

*«Портной обновочку уютжит,
Сопит портной, шипит уют,
И брюки выглядят не хуже
Любых обыкновенных брюк...»)*

*«куда ведет сверкая
Река издалека
Откуда здесь такая
Знакомая тоска»* [с. 92]

Поэт вновь и вновь ищет путь к себе и к миру, играя со словом, поскольку слово — основной инструмент шифровки культурного кода, бормоча его, словно учась произносить, бросая звукоподражание камушком в реку времени, соединяя, казалось бы, несовместимые лингвистические единицы, находя смысл в бессмыслице, обнаруживая постоянные соответствия и несоответствия в многовариантном, логичном и в то же время хаотичном мире:

*«междузлой собакой и картонным волком
солью на губах и
пони длинной челкой*

*старая эклога
домик оловянный
памяти тренога
дым сухой и пьяный»* [с. 57]

Наряду с абсурдистской эстетикой, свойственной поэзии модернизма, в книге присутствуют стихотворения, написанные в технике автоматического письма, призванного зафиксировать бессознательное, облечь в словесную форму ощущения от соприкосновения с миром, изначально невыразимые:

*«говорить слова любви
ждать слова любви
понимать слова любви
знать слова любви*

*вдоль покатых берегов
серых берегов
на террасе в Мариго
город Мариго*

*город плавает в воде
море в темноте
как похожи горы те
на еще вон те...»* [с. 84]

Так же поэт обращается к ставшей уже немодной классической архитектонике стиха и элегической традиции, обнаруживая спокойную, уютную радость от простоты произнесенного слова, лишенного вычурности:

*«И вот уже больше не надо ждать,
Лишь радоваться: пришло.
И август еще не успел настать,
Как все и произошло»* [с. 38]

Но сборник «Коренные леса» нельзя назвать подражательным. Поэзия Елены Сунцовой, в которой актуализирована культурная память, не является попыткой создать современную копию, например, лирики Серебряного века.

«Коренные леса» — это еще одна книга-жест оглядки. Но если в предыдущих своих лирических книгах Елена Сунцова вспоми-

нает друзей, родительский дом, детство, проведенное на Урале, с целью убедиться в неиссякаемости воспоминаний, которые служат источником вдохновения, то в «Коренных лесах» прорастание в бытие, упрочивание связи с миром происходит на ином уровне.

В этой книге поэт обретает панорамное зрение, вписывает себя в ландшафт мировой культуры, находит общий язык с мирозданием, взгляд поэта уже оглядка не в свое прошлое, а внимательное вглядывание и «вчувствование» в самые глубины общечеловеческого бытия:

*Сквозь перья и духи
просвечивает та
воспетая — стихи —
святая пустота.*

*Просвечивает сквозь
пустую букву ю*

*любовь, тоска, авось —
отдам и утаю.*

*Любовь идет, неся
и перья, и духи,
и полумесяц «я» —
помои требухи.*

*Скорей, скорей, скорей,
ты выдуман и слеп —
из верных сыновей
ты раб, ты чернь, ты — серп.*

*Лети, огонь свечи,
пещерное ау,
светите, кирпичи,
бессонному уму,*

*Отваживаясь петь,
допеть — и снова пасть,
туда, где ер, где ферт
и ять. [с. 74]*

Марта Шарлай

«И я живу во мне»

Вот, пожалуй, очень краткая характеристика героини Елены Сунцовой и самый экстракт «Коренных лесов». То, что поэт всегда обращён внутрь себя, известно. Но здесь мы имеем дело с обращённостью даже не в средоточие себя, но в стык себя — с миром. Эта констатация: «я живу во мне» — почти ничего не значащая: как если бы героиня сказала: небо живёт в небе, корабль живёт в корабле и т. д. Собственно, чтобы не отрывать текст от контекста, приведу целиком строфу:

*но то тоска а то корабль
и он парит во сне
как равнобокий дирижабль
и я живу во мне
(«корабль видела на дне...»)*

Таков здесь порядок вещей, и героиня Елены Сунцовой в ладу с этим порядком. Отсутствие знаков препинания — не то инфантильная черта, умышленно неискоренённая, не то самый настоящий расчёт: абсолютное равенство каждой фразы с другой (отсутствие подчинённости) либо же абсолютная зависимость каждой фразы от другой, что в конечном итоге всё-таки снова приводит к равенству. Или индифферентности. *Не то корабль, как дирижабль, парит, не то и я, как равнобокий дирижабль, живу во мне.* Нонсенс, конечно, но кэрролловская Алиса, например, управлялась с подобными вещами лучше, чем с чем-то очевидным. Сон в «Коренных лесах», кажется, главное состояние.

До «Лесов» же было ещё четыре сборника: «Давай поженимся» (2006), «Голоса

на воде» (2009), «Лето, полное дирижаблей» (2010), «После лета» (2011). В каждом из них Елена Сунцова разбрасывает зёрна, чтобы потом собрать урожай «Коренных лесов». В каждом из них мы увидим/услышим многое из того, что обнажится здесь (если вы сможете зайти в эту чашу). «Коренные леса» окончательно выходят за пределы иллюзии реального мира. Теперь сон — единственная реальность, и здесь свои законы.

В «Давай поженимся» Сунцова откачивается от синтаксиса, вероятно, чтобы лучше явить то, как она управляется с лексикой: перекатывание звука в слово и слова в звук, продлевание звука и усечение, нанизывание слов и смешение, она строит и разрушает, она вплетает в русскую речь иностранную и из иностранного делает своё — достигая причудливой образности:

*их апеннин зибен
сами слегка мюних
пробуя не шпроты
свежую колд кат
(«Словарный запас на зиму»)*

*Больной рептилией реликтовой,
приподнято пирамидальна,
шевелится кораллов накипь,
вспухает кротким словарём —
(«Пустея хмелем эвкалиптовым...»)*

*в морозящем чикаго спустя сто лет
ты целуешь нерусскую революцию
мальчик в лимонной куртке и взглядом
кэдбери
их скоро всех убьют у кого ты учишься
строгости партий в свои дымовые
шахматы
вздрагиваешь кожною глазного яблока
водишь зрачком просыпаясь туда
от ужаса*

Вот от этой первой книги в «Коренных лесах» много сохранилось, но изменился тон, изменилось всё-таки отношение к словесной игре — теперь она стала более виртуозной. Отказ от синтаксиса намеренный:

здесь, в пятом сборнике, это аскетизм, оборачивающийся, правда, избыточностью.

В «Голосах на воде» тон становится вкрадчивей, нежнее (так и хочется сказать — журчее), образы — тоньше, доходя иногда до щемящей «милости» («И старая река, и жар...», «Пугливо голуби неслись...», «На память обо мне...»). Больше апеллирования к классичности, обращение к образности и стилистическим приёмам русского фольклора, при том что не теряет своеобразие отношение автора к распечатляемому (потому что Сунцова не запечатляет новое, а напротив — распечатляет привычное):

*Зима, зима, земле золы зима,
во зле воз левой мне было одной,
не тронула тропы вошла тропой,
спешила, понимала, поняла —*

*ноябрь, светлее воздуха ноябрь,
не холодно от серой пелены,
покалывай, показывай мне сны,
двоя.*

Вот эта просьба — «покалывай мне сны, / двоя» — при наметившемся невнятном проговаривании понимаемого (но ещё не понятого вполне, формулируемого, но не приобретшего определённой формы) есть зачин «Коренных лесов», где сны — и двойные в том числе: сон во сне или сон в бодрствовании — в избытии.

«Лето, полное дирижаблей» — это пейзаж, и героиня (= душа) встраивается в него как его часть.

*Душа расправилась, проснулась,
к весенней ветке наклонилась,
цветущим воздухом надулась
и дирижаблем округлилась.*

*Пойдём, сиреневого счастья
себе, как хлеба, наломаем,
и боль окажется пустячной,
душа цветком и горе раем.*

«Лето, полное дирижаблей» — это переход. И переход совершается не вдруг: «Лето, полное морей, / дирижаблей». Только что была вода — но вот она уже пар, или туман, или попросту облак(а) — небо... Дирижабли как символ полёта плавного, по течению — ветра: куда ветра занесут. И рискованного: попробуй лети, коли ветра нет. Это лето — не на земле, но в вышине, в отрыве от земли. Если во втором сборнике нас приглашают прислушаться к отражённым водой голосам, то здесь — к подхваченным струями воздуха.

Вода, впрочем, остаётся значимым для Сунцовой символом. Если подсчитать, то в третьем сборнике слово «вода» встречается больше 20 раз, «снег» — 9, «лёд» — 6, «море» — 12, «река» — 21, «озеро» — 3, «пар» — 2, «дождь» — 8. Дальше: «небо» и «облака» — 16 раз; того больше — «деревья» и их конкретные названия; наконец, «любовь»/ «любить»/ «любимый» — 15 раз. «Коренные леса» водой напоены несколько меньше («водной» лексики разного рода около 50 слов), неба в них больше, и «Леса» в два раза любвеобильнее. Но — самое удивительное! — слово «лес», исключая название сборника, произносится только дважды, да и собственно деревьев здесь не так чтобы много. И верно, «Коренные леса» отсылают к тому, что брезжит, но не явно.

Главный же образ третьего сборника, «Лета, полного дирижаблей», — душа. Душа, оговаривается Сунцова, не полная (уже? ещё? снова?) — полая:

*Словно дирижабль
кожицей холста,
полая душа,
телом обростаёшь.
(«Из такого дня...»)*

Лирическая героиня просит о невозможном, ибо, взятая в плен тела, душа тут же станет рваться обратно. В «Корневых лесах» душа не обёртывается в кожу, но, напротив, освобождается — отпускается к своим корням, в чашу, где она одна не заблудится. Хотя само слово «душа» утаивается, душа остаётся

неназванной — называется (вызывается) непосредственно всего раз на книгу.

Сборник «После лета» по сути продолжает «Лето, полное дирижаблей», только уже в более холодную, прощальную пору. В целом образность, лексика, интонация остаются теми же. Географии становится больше, она расширяется и определяется. Замелькают названия: Франкфурт, Ист-Ривер, Лос-Анджелес, Бруклин, Итало-Петроград, Казань, Крым, Нева, Сылва и Тавда и т. д. В «Корневых лесах» география также обширна.

И вдруг мы услышим:

*В этом мерцающем полусне,
в раковине речной,
ты не поверишь влюблённой мне,
ты не побудешь мной.
(«Нью-Юнна»)*

Не по этой ли причине в «Коренных лесах» героиня Елены Сунцовой станет выражать свои мысли иначе? Если всё равно «не поверишь» и «не побудешь мной» — чтобы поверить и понять сполна, то, может быть, нужно самой полностью уйти в сон — из полусна, в полное радужное ослепление — вместо мерцания?

Тем более что здесь, в эпиграфе к одному из стихотворений цикла «Манхэттенские романсы», Сунцова повторит мысль из первого своего сборника: «Какая разница, какая речь вокруг, / ведь всё равно окажется цыганской...» — Той, которую не слишком охотно слушают... Ненадёжная речь (в продолжении: «профукает, подобно Ганской Э., / и слуг надёжность, и мужей азарт»). И если так, то не лучше ли углубиться в речь для самой себя?.. Не лучше ли отдаться её потоку, без расчёта на понимание?...

Так, в «Коренных лесах» Сунцова решает снова вернуться к речи до-речи — лепету; как бы устав говорить на общечеловеческом языке, обращается к языку сна и грёзы, которые рассказать можно с трудом. Словно бы автор/героиня ограничивает пространство — для собственной безопасности, чтобы не-свои не признали, не вошли, не начали слушать (если всё равно не услышат). Так

она воссоединяется со своей изначальной речью — из «Давай поженимся», — чтобы, может быть, зайти на другой круг/виток. Там, в облаках сна, как известно, говорить вслух (ясными фразами) вовсе необязательно. Но поэт речью повязан. И в этом смысле отрываться от неё опасно.

Русский язык монументален и в то же время податлив, как глина. Порядок слов почти любой, акценты — какие угодно. Слово, чуть иначе озвученное, приобретает совсем другое значение. Елена Сунцова балансирует на грани вседозволенности — предоставляя воспользоваться ею читателю. Но и сам автор пускается в весьма раскованную игру со стихами-словами. Тон при этом абсолютно серьёзный — слова таковы. Однако же трудно доверять свободно парящим словам. Без синтаксиса стихи замирают, как замирает плод внутри женщины. Встречи с миром не состоится. Есть некая попытка, увы, не доведённая до конца. Есть некий намёк на встречу. Намёк — это ещё не всерьёз. После богатого на эксперименты Серебряного века, когда форма побеждала суть, суть совершала скачок над формой, когда пустота становилась всем и обретала значение большее, нежели привыкли ей придавать; после символистов, футуристов и проч. упрощения с намёком глубины, серьёзности (глубокая ли (серьёзная) мысль, замаскированная под чепуху) не проходят.

Форма уже не шокирует, не удивляет, не волнует и ещё много разных «не», то есть оставляет равнодушной. Содержание?.. Тоже. В «Коренных лесах» не сделаешь открытий — здесь нет откровений, но есть обнаруживание вещей в мнимой их необычности. Такие обнаружения случаются очаровательными, умильными... Мир пастельных тонов с поскрипыванием от прокручиваемой плёнки диафильма (или так обозначенной тревоги [ожидания]) похож на детскую, игровую, комнату.

*убийца входит шляпу сняв
закрывки опустив
ему не страшен серый мав
и мой аперитив*

*но розоватый почтальон
педали вертит как
сухарики падает в бульон
и крутится вот так
(«встаёт щербатая луна...»)*

Дети, к которым так однозначно (в игре и серьёзе) приравняли поэтов Марина Цветаева, охотно пускаются в словотворчество; речь заводит дальше, чем иногда можно себе представить.

*тени от газебо
в море цвета неба
и светлей лазури
парус цвета сурик*

*и пушеч на ветках
на квадратных метрах
и на сантиметрах
прутьев в этом гетто*

*канарейка скажет
корюшка мурлыкнет
но мятежный гаджет
не запомнит фыркнет*

И нарочитое, вычурное «газебо», и нежное «пушеч» перед страшным «гетто», и современное холодное «гаджет». Последний, впрочем, немедленно превращается в животное, мятежное и фыркающее.

Не слишком верится в финальное «о» (вероятно, долженствовавшее выражать одновременно и метафизический скачок, и внезапную остановку перед — чем?..) в стихотворении «Бродский и Рейн гуляют по темпераментам...», где последняя строфа изысканно-театральна, но насколько она информативна?..

*Бродский и Рейн сливаются
с перспективой
о моя жизнь бесплодна
и если призраки живы
взнуздайте меня
о*

какого). Лексика без синтаксиса — это не вполне стихи, какие бы опоры ни подставлялись (рифма, ритм, образы-символы). Стих — идеальная форма речи (и письменной даже больше, чем устной, ибо на бумаге кристаллизуется, становится нерушимой). Что очевидно, русские стихи — идеальная форма русской речи.

В чём нет недостатка в сборнике Елены Сунцовой, так это в животных и особенно в кошках (на задней стороне обложки пушистый кот, обутый на все четыре лапы в узконосые туфли; упитанный и явно своевольный). Кошачьи морды и спины выглядели с самого первого сборника; в четвёртом, «После лета», они расплодилось невероятно. Можно рассматривать кошку как образ, символизирующий одиночество и независимость, в то же время беззащитность, нужду в уюте и тепле — условиях, при которых она становится домашней и начинает создавать атмосферу. Но... В конце концов мурлыканье и мяуканье в стихах, как и сам источник этих звуков, начинает раздражать. Более двадцати упоминаний (исключая повторения внутри одного стихотворения): «кот», «котёнок», «кошка», «манул», «двакота», «мурлыкать» и т. д. Даже поэты в «Коренных лесах» как животные (кошки), то есть наоборот:

*книзу головой
в маленьком бассейне
лев плывёт живой
словно Ходасевич
(«в водорослях ржи...»)*

Вообще же «Коренные леса» не лишены обаяния, но в них слишком много всего, они чрезвычайно густы и становятся непроходимы. Прежде всего много имён — известных и не очень, всеобщих и сугубо личных; прямо упомянутых и данных намёком: стихотворным размером, или лексикой, или тем и другим («Гильдебрандт» отсылает к «Рождественскому романсу» Бродского; в «И вот уже больше не надо ждать...» слышится голос Цветаевой; и не однажды блеснёт то или иное северянинское словцо, да и вообще футуристическая традиция Еленой

Сунцовой продолжена в «Лесах» вполне очевидно). Географическое пространство обширное, как и в предыдущем сборнике (Петербург, Москва, Берестань, Днепр, Байкал, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Чили, Мариго, Ист-Ривер, Греция и т. д.). Ещё много позы, звуков (а точнее, шумов:), алкоголя (от обыденного, прозаического мерло до поэтического, символического ай) и т. д. Всё вместе складывается в нечто театрализованное. (Театральность выдвинута на первый план и обложкой, где нам представлено всё, что встретится на страницах: распахнутое окно и за ним здания [город], влюблённые, одинокое дерево [тоска по лесу], дирижабль; на подоконнике бокал с алкоголем, декоративная рука в украшениях и с веером, пузырьки не то с духами, не то с ядом, даже револьвер; манекены, один из которых с усами на женственном лице, а другой, подчеркнута женственного вида [не только голова, но и корсет], с мужским цилиндром; при этом оба манекена глядят скорее живыми, чем искусственными, в то время как пейзаж за окном больше напоминает декорации.) В конце концов чувствуешь себя несколько обманутым, как после праздника, где было много вина — но вы при этом трезвы; много умных разговоров — но о чём именно?.. Всё, что звучало и произносилось, слилось в единый шум; всё виденное — в общее смазанное выражение. И приходится признать, что вас пытались втянуть в игру, значения которой вы так и не уловили.

*самолёт летит на восток
сам себе напоминая
синеватый огурец
с кожурой как у банана*

*не хватает волоска
на макушке ананаса
и за лоб берёт тоска
пассажира бизнес-класса*

*но тоску я не люблю
и пускай она летает
и упрячет длинный клюв
в белой подпуши над льдами*

Говорение, редуцированное до бормотания; откровение, в самом начале ушедшее в жест. И такого жеста (позы, флирта, зазыва, (само)любования) даже чересчур: «и бабочка твоя проснувшись шёлком / хранит имаго первое движение», «муаровая мягкость тела», «чмок мои фижмы», «откройте несессер / и выпейте яду» etc. Наконец, всё срывается в полнейшую безвкусицу:

*песен ангельских не пой
и не жалуйся украдкой
а не то возьму с собой
вместе с белой шоколадкой
(«как голубка на карниз...»)*

*печаль вливается в печаль
как обморок в вино
пусть поцелуем палача
оно обагрено*

<...>

*и вкусным дымом сигарет
напоит сон печаль
и снова молодости нет
и падали не жаль
(«печаль вливается в печаль...»)*

Впрочем, когда доходишь до «я живу как рельсы / вроде параллельны», никакими вопросами больше задаваться не хочется. Если цель этих стихов «всего лишь расти», как говорит Ирина Машинская, при этом «не терять тяги, движущей любыми настоящими стихами — хотения от себя того, чего не бывает: паспортного сходства стихотворения и замысла», а почва, на которой они произрастают, — сон и не вполне связанная речь, то вопросы действительно оказываются не нужны. Хотя я совершенно не согласна с тем, что «любыми настоящими стихами» не достигается сходство с замыслом. Всё дело в том, как обращаться со словом, с речью. И вот здесь стоит замереть в ожидании: что явит собой следующая книга Елены Сунцовой?

Елена Сунцова. Коренные леса / Предисловие Ирины Машинской. — New York, Ailuros Publishing, 2012

Пермь страшна осенью

Наталья Земскова. *Город на Стиксе*. — М.: ООО «АрсисБукс», 2013

Светлана Федотова-Ивашкевич. *Другая, следующая жизнь*. — М.: РА Арсис-Дизайн, 2013



ги в определенном смысле дебютные. «Другая, следующая жизнь» — первое художественное произведение журналиста, автора документальных книг об истории Перми «Молотовский коктейль» и «Советская Пермь». «Город на Стиксе» — претендует на качественно иной уровень литературы, нежели «Детородный возраст» — стопроцентный дамский роман о сорокалетних женщинах и «последнем шансе», с которым весьма удачно дебютировала Наталья Земскова в 2010 году.

О чем пишут женщины? Само явление женской прозы и правомерность рассмотрения текстов, написанных женщинами, в качестве самостоятельной области словесности — тема спорная. Однако мнения большинства критиков и литературоведов сходятся в том, что женскую прозу объединяет определенный круг близких ей тем — это семья, дети и любовь. На практике все вышеперечисленное оказывается невозможным, пока не найден подходящий кандидат на роль отца мужа и/или любовника, поэтому немалую долю любого жен-

ского романа, как в сюжетном, так и в содержательном плане занимает история поиска этого самого мужчины. Книги Земсковой и Ивашкевич здесь не исключение. Героиня «Другой, следующей жизни», глядя на себя в зеркало, повторяет: «Мне сорок лет — нет бухты кораблю», и естественно, за этим следует попытка объяснить причины — романы со взбалмошными художниками, занятыми бизнесменами, женатыми мужчинами или эгоистичными холостяками. Практически те же истории рассказаны и в «Городе на Стиксе» — все они об одном: как вычислить и заполучить Его и не потерять при этом себя. Поиск непременно должен увенчаться удачей. В романе Земсковой долгожданный принц появляется на пороге Елизаветы с букетом цветов, сдав билеты на самолет, прямо в новогоднюю ночь!

Похоже, что каждый журналист мечтает не только написать роман, но и провести настоящее журналистское расследование и почувствовать себя в роли сыщика. Во всяком случае, детективная составляющая присутствует

Написаны женщинами, написаны журналистами, написаны пермяками о Перми — уже эти сходства позволяют сопоставлять и сравнивать романы «Другая, следующая жизнь» Светланы Федотовой-Ивашкевич и «Город на Стиксе» Натальи Земсковой. Кроме того, обе кни-

в обоих романах. В «Другой, следующей жизни» героиня оказывается впутанной в «войну» за владение Часовым заводом, которая сопровождается чередой странных самоубийств, а журналистка из «Города на Стиксе» замечает, что все, о ком она пишет, вскоре погибают: балетмейстер, поэт, музыкант и художник. Их связывает некое тайное общество, из участников которого теперь только один остался в живых. Сумеет ли Елизавета спасти его от гибели? Впрочем, детективные линии, как и любовные, относятся, пожалуй, к призванной привлечь массового читателя «оболочке», которая делает произведения пермских писательниц похожими не только друг на друга, но и на все популярные дамские романы вообще. Гораздо больший интерес вызывает то, что находится в глубине текста, его внутренние смыслы и особенности их художественного воплощения.

«Все события были на самом деле или могли быть» — предупреждает читателя Светлана Ивашкевич. Этот эпиграф объединяет два параллельных сюжета книги: приключения юной и безнадежно влюбленной аристократки Зои, происходящие в начале XX века, и кампанию по захвату государственной собственности, «провернутую» преуспевающим бизнесменом Андреем в конце столетия. История Зои написана в постмодернистском, подчеркнуто ироничном

ключе и представляет собой «роман в романе», озаглавленный «Пули амура» и являющийся своего рода пародией на душещипательные опусы о жестокой любви, полные неожиданных сюжетных поворотов.

Однако череда событий, произошедшая с Зоей по вине ее несостоявшегося жениха: бегство из дома, ночь в борделе, тюремное заключение за распространение случайно украденных листовок и прочая несуровица, происходит на фоне подготовки и свершения революции, и потому приобретают дополнительный смысл. Те же провокационные листовки, из-за которых Зоя оказалась за решеткой, после революции защитят ее от произвола новой власти, но узреть масштабы этого произвола и расстрелы невинных людей она успеет, и это не может ее не изменить. Отрезвлению излишне мечтательной барышни способствует и коварный профессор Громов-Ганделевский, неожиданно превратившийся из доброго волшебника в коварного демона. Кстати, именно он вводит в повествование Уильяма Блейка, чье творчество красной нитью проходит по всем пластам романа: Зоя оказывается в роли Sick Rose, а Андрей узнает о силе слова поэта из рассказа таксиста, племянник которого с трудом оправился от пагубного влияния блэйковской философии.

Стилистика «Пуль амура» возвышена и эмоциональна,

насыщенна романтическими штампами вроде «силы оставили ее», банальными метафорами, расхожими цитатами и истинами, нередко искаженными неопытной рассказчицей, а также театральными паузами и немymi сценами. Абсурдность «Пуль амура» усиливают газетные репортажи о Зоинном аресте, демонстрирующие как стараниями журналистов и чиновников до неузнаваемости изменяется реальность. В тексте немало шероховатостей: стилистических, пунктуационных и фактических. Впрочем, часть из них можно списать, на «отсутствие стиля», о котором упоминала Зоина матушка, и на непрофессионализм автора ее истории, той самой сорокалетней женщины, неустанно ищущей свое счастье. Приведу одно лишь сравнение, которое хоть и не относится к перечисленным погрешностям, выглядит весьма странно: «Девушка отвела меня на кухню, налила мне чаю с мятой и дала в руки большую баранку. Сама села напротив, подперла голову руками и, посмотрев на меня добрыми глазами, какие могли бы быть, к примеру, у огурца, приказала: — Рассказывай». Обительница дома терпимости с добрыми глазами огурца — это, пожалуй, слишком.

Четные главы, героем которых является Андрей Суворов, рассказаны в принципиально иной, подчеркнуто реалистичной, даже репортажной манере. Именно

так описаны подробности «взятия» Часового завода, в недавнем прошлом выпускающего взрыватели. И сама история, и ее действующие лица — хладнокровные бандиты, «патентованные мерзвцы» — типичные явления для «лихих 90-х», и по сей день остающиеся частью российской действительности. Занимателен здесь не сам событийный ряд, а его соотнесенность с событиями прошлого. Сюжетные линии пересекаются не только буквально, когда Андрей читает «Пули амура», а затем знакомится с написавшей роман Анной — есть еще неопределенная прямую схожесть характеров ранимой девушки и непробиваемого дельца. Они обладают гипнотической властью над людьми и в силу обстоятельств вынуждены размышлять о манипуляции массовым и индивидуальным сознанием.

Повествование в «Городе на Стиксе» течет более размеренно и ровно, чем в романе Светланы Ивашкевич, не смотря на неожиданные повороты сюжета. Любовные неурядицы и пленка, случайно снятая в день первого убийства, ночное посещение Кафедрального собора и таинственные записки со стихами, теория столицы и провинции и история Стикса — все это, и не только, уместается в одной сюжетной плоскости, сплетаясь все теснее. Периодически в тексте появляются отступления, в частности,

исторического характера. «Дягилевы, которые любили собираться большой семьей и приглашать гостей» наравне с современниками становятся персонажами романа Земсковой, тем более важными, поскольку в «Городе на Стиксе» поднимаются проблемы культуры, осмысляется феномен провинции.

Теории о составляющих гениальности и размышления о том, что «в провинции есть интеллигенты, но нет интеллигенции, есть культура, но проблемы с культурной средой» вкуче с неожиданными смертями тех, кто хотел опровергнуть предрассудки и добиться мирового успеха за пределами столицы, выливаются в любопытную мистическую теорию о сверхспособностях города. Согласно ей город на Стиксе обладает внутренней силой и притягивает к себе гениальных людей, а затем уничтожает, тем самым, делая их частью своей мифологии. Гибель одного из героев похожа на смерть пермского поэта Володеева. Тень хореографа Евгения Панфилова не сходит со страниц романа. Одним словом, культурная и историческая Пермь показана Натальей Земсковой настолько развернуто, насколько это возможно в «любовно-детективных» рамках.

При этом Пермь обыденная, стоящая на Каме — город неприветливый, серый, грязный и промозглый, из которого хочется поскорее выбраться. «Тогда я еще не

знала, что главное здесь — прожить один год. Если ты его прожил, то уже никуда не уедешь. А я как раз решила уезжать — посреди так называемой осени, в самом страшном ее месяце — ноябре, когда в тебя буквально вгрызаются бесснежные морозы, и ты чувствуешь себя тем самым каторжником в кандалах, от которых сбегала в Петербург Анна Ивановна Дягилева», — пишет Земскова.

Ивашкевич «самым страшным месяцем» считает чуть более раннюю осень: «Октябрь был самым мерзким месяцем, по крайней мере, в Перми. Под низким свинцовым небом приходилось просто продираться. Серые дома нависали угрюмыми тротуарами, по которым брели люди в чем-то темном. Черные липы кололи небо своими ветками. Красивыми были только лужи. Они переливались радужной пленкой бензина». Зоя, как и Анна, мечтает уехать и без конца повторяет: «Прочь из Перми! Всегда со мной тут будут происходить дикие и несправедливые вещи». В «Другой, следующей жизни» почти отсутствуют описания облика и характера Перми, которые были бы однозначно узнаваемыми. Среди немногочисленных зацепок — черная клоака рынка в центре города, набережная Камы и названия центральных пермских улиц. В остальном атмосфера города описывается примерно как в выше-

приведенном отрывке, и может указывать практически на любой российский город.

«Другую, следующую жизнь» издатели определили как «интеллектуальный триллер» и явно хватили лишнего. Ни особого интеллектуального, ни излишнего психологического напряжения книга не требует и не вызывает. Безусловно, можно все же напрячься и найти

больше различных аллюзий и связей между пластами настоящего и прошлого, чем кажется на первый взгляд, но чревато это обнаружением дополнительных неточностей, скажем, в цитировании того же Уильяма Блейка. Можно не напрягаться и с удовольствием следовать за захватывающим сюжетом.

«Город на Стиксе» назван «остросюжетным романом»,

и если под этим определением подразумевается смесь классического детективного романа, лав-стори и мистики, то с ним вполне можно согласиться, а вместе с культурно-историческим «бэкграундом» все это качественно отличает «Город на Стиксе» от дебютного романа Натальи Земсковой.

Кристина Суворова

Игра в фанты, любовь и грустно

Янис Грантс. Бумень. Кажницы. Номага. — Челябинск: Издательство Марины Волковой, 2012 — 160 с.



Вот скажите: у вас сохранились какие-нибудь детские штучки и дрючки? Ну там, коллекция карманных календариков, открытки, марки, детские книжки, рисунки, бумажные куколки и одежды для них, значки, фантики, в конце концов? У меня — сохранились. Однажды я все это собрала, запаковала в коробку, вложив туда ВСЕ, даже любимую

куклу Ирину (с голубыми глазами, а синтетические ее мохнатые ресницы к тому моменту, увы, давно уже выпали), заклеила скотчем, да так и оставила. На хранение. От родителей эта коробка уехала вместе со мной. Потом она также со мной покинула один город и уехала в другой. Она меня греет, эта коробка. Потому что воспоминания нужно хранить. Они теплы и наивны, они неуклюжи, они просты и радостны. Даже если печальны.

В конце концов, если вдуматься, что наши воспоминания — это наше настоящее. Ведь не зря же в американских боевиках главный герой, очнувшись внезапно где-нибудь с пистолетом в руке, весь фильм бежит по экрану, пытаясь вспомнить, кем он когда-то был и как он сюда попал. На наши глаза. С

этим треклятым пистолетом. Потому что без воспоминаний мы — никто. И — потому что нам без них скучно. Потому что мы без них — слишком взрослые.

А вот про Яниса Грантса я так не скажу, потому что он — не слишком взрослый. И его новая книжка — «Бумень. Кажницы. Номага» — тоже. Времена в ней перепутались: здесь горюют — смеюсь, а смеются — исключительно подумывая о горестях мира, смерти и несчастной любви. Взрослые в ней говорят, как дети, дети — как взрослые, впрочем, думаю, все это неважно. Ни для нас, ни для Яниса Грантса. Потому что он — мистификатор и чудодей. Потому что я вот, к примеру, читаю его замечательную книгу и чувствую, что тоже начинаю говорить, как он. И писать — тоже.

Книга меня сразу запутала. Прямо с самого начала. Потому что она состоит из двух книг и начинается, конечно, с книги № 2, а заканчивается, сами понимаете, книгой № 1. Это необыкновенное ощущение карусели, которая самым непонятым, приятным и головокружительным образом начинает крутиться в обратную сторону. То ли прятки, то ли игра в морской бой — со многими неизвестными:

*корабли повернули на юг
(самый первый похож
на уют,*

*а последний —
на лапоть).
корабли повернули
на запад.*

*дан сигнал: поворот
на восток.
(серединный похож
на пирог).*

*корабли повернули
на север.
адмирал уцепился
за леер:
не сдаваться! искать!*

*не нашли.
лишь обломок от мачты
нашли.
(«Корабли»)*

Вот и со стихами Яниса Грантса дело обстоит точно также, как с вышеупомянутыми: они совершенно обманчивы на вид. Обманчиво просто. Обманчиво наивны. Обманчиво беспечны:

*СЕМЬ.
папиросу затушила.
и зашторила окно.
я решила. я решила.
все решила. решено.*

*ПЯТЬ.
со стола убрать бумаги.
застелить свою постель*

*не увидеть больше Праги.
не приехать в Коктебель.*

*ТРИ.
я оставляю. я покину.
пусть не плачут.
плачут пусть.
я решила.
я Марина.
я повешусь.
я спасусь.*

(«Семь. Пять. Три»)

Я бы даже сказала, что стихи Яниса Грантса обманчиво добры (само по себе странное определение — «доброе стихотворение», потому что современная поэзия и добрые стихи — это совершенно несовместимые вещи. В отличие от стихов Яниса Грантса):

*где и когда в черных
потоках реки
рыбы тревожно уснут,
где и когда спящие рыбы
в силки
все до одной попадут,
где и когда и все, как
один, рыбаки
виски в стаканы*

*нальют —
там и тогда дном
проплывут башмаки,
в юбке чулки проплывут.
это Вирджиния Вулф.*

(«Где и когда»)

Но одно в них видно сразу, точно и не обманчиво: они прекрасно грустны. Как воздушный шарик, забытый на месте прошедшего детского праздника. Как оставленный шарф в кафе. Как последняя конфета:

*и когда ты придешь
когда-нибудь,
и обнимешь меня,
продрогшего,
будет солнце зашто
за небо,
будет небо — холстом
изношенным.
ты обнимешь меня,
продрогшего,
на прощанье.
всего хорошего.*

(«Небо»)

Эта грусть подкупает и — радует. Потому что самая лучшая грусть — самая чистая и самая полная надежды. Пусть именно так мной немножко криво сказано, зато очень от души.

Возможно, именно потому, что все грустно — и жизнь, и любовь, и стихи, эта книга полна теплой самоиронии: согревающей, успокаивающей. Жизнеутверждающей даже, не побоюсь сказать. Как чай с малиной. Или кофе с коньяком. В конце концов, что спасет мир, если не варенье, коньяк или смех, даже самый грустный смех?

*и зол-то я не по злобе,
а так — позерствую.
рифмую письма сам
себе —
тома разверстые.*

завел собаку, а оно —
ворует пряники.
живу.
один.
давным.
давно.
а тянет — к маменьке.
(«Животные»)

Эта самоирония, это легкое ехидство по отношению к миру окружающему, обыденному и надоевшему, как в дурной день, бывает, надоедают и самые любимые вещи, полна глубинной нежности.

И любви. Любви трепетной и нежной, любви тайной и прозрачной, больной и острой — от своей прозрачности и нежности. Бесполезной, ибо любая любовь — бесполезна, и потому — драгоценнейшей, как любимая пуговица из пуговичной деткой коллекции, как монетка на удачу, как кочующая из кармана в карман зажигалка или зеркальце, годные только на то, чтобы играть ими в фанты, но потеря которых — хуже всех других потерь:

мне легче, твержу я, мне
легче.

мне чуть потерпеть.
Выждать лишь.

и небо — как зеркало крыш.

и время — все лечит
и лечит.

и ты — все болишь
и болишь.

(«зашили, а шва и не видно»)

Грустно.

Давайте играть в фанты.

Екатерина Симонова

Из бездны в бездну и обратно

Алексей Сальников. *Нижний Тагил*. — Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2011

Алексей Сальников. *Дневник снеговика*. — New York, Ailuros Publishing, 2013

Есть все основания назвать роман Алексея Сальникова «Нижний Тагил» прозой поэта: ему предшествовали книги стихов «Стихотворения» (2004) и «Людилошади» (2006), получившие высокую оценку в виде премии в главной номинации «Литератур-рентгена». За романом последовал новый поэтический сборник «Дневник снеговика». Проза и поэзия Сальникова тесно связана общими образами, складывающимися в единый мир, постоянно меняющийся, но статичный, поглощающий сам себя и людей, оказывающихся в нем. Один и тот же лейтмотив звучит между строчек романа и в стихах, почти бессловесный, но ясный, как саундтре-

ки в фильмах ужаса, заранее предупреждающие зрителя о том, что скоро произойдет нечто страшное.

В «Дневнике снеговика» центральным образом, как не сложно угадать, оказывается снег. Снег не только бесконечными потоками льется с неба, но и «вырастает из земли», все пронизывая холодом и размывая очертания. Человек тоже теряет целостность «Ты боялся, что тебя съедят покойники, и они тебя съели. / И теперь, разрозненный по их внутренностям, не имеющий веса, / Чувствуешь себя такими нотами на весу». Зима «вычеркивает человека», но в тоже время «одушевляет предметы». Снег падает, моторы идут, надпись

«ГК» краснеет, и апельсиновое пятно светофора тоже не может бездействовать — оно молчит.

Предметность — свойство как поэзии, так и прозы Сальникова. Предметы придают пространству черты реальности, позволяют воспринять его органами чувств. «Шмель тычется в шов меж рамою и стеклом, / Картошка, в мешок пересыпаемая ведром, / Свет, отрывающийся от реки кусками, / Пароходик, проходящий под большими мостами, / Отчим, складывающий из газеты шапку для маляра, / Одинокий звон многократного комара» — такой чередой вещей и звуков пролетает жизнь в голове девочки



Маши за мгновение до столкновения с грузовиком. Только на такое короткое время окружающие предметы могут оставаться в покое. Картинка промелькнула и тут же сменяется другой, как кадры киноплёнки.

Парадоксальное сочетание статики и движения затягивает. Именно это постоянное непостоянство создает ощущение, которым пронизано творчество Сальникова — «что все на свете играет в прятки, / Да так давно, что и не ищет никто». Похожее чувство возникает при чтении Бродского. И дело тут не только в стремлении Сальникова создать «прейскурант пространства», которое заставляет перечисление длиться и длиться, даже когда «предметов осталось мало» или «остались пальто и я». Оно же, кстати,

отчасти объясняет и особенности внешней формы поэзии Сальникова — стихотворные размеры, ударения, рифмы, стилистика — все отходит на второй план, вытесняемое желанием «через все запятые дойти, наконец, до точки». Попытка показать мир, не упрощая его, во всей изменчивости и противоречивости, без страха провалиться в бездну — вот что сближает Алексея Сальникова с Иосифом Бродским.

Сальников описывает эту бездну: «Ад — это некое пространство, полное неким светом, / Где не движется ничего, и при этом все движется, / И при этом...». Все его творчество, в той или иной мере, посвящено описанию этого пространства. Роман «Нижний Тагил» — в том числе (в скобках заметим, Сальников жил в Нижнем Тагиле, сейчас перебрался в соседний Екатеринбург).

«Никогда не приезжайте в Тагил ночью — предупреждает автор романа, — там хер знает что творится». Однако на первый взгляд ничего особенного не происходит. Так, в первой части описано знакомство мужчины и женщины, которое развивается по мере их опьянения и переходит в горизонтальную плоскость — куда уж банальней. Но в деталях, никак не выделяясь на фоне разрастающейся обыденности, проявляется нечто из ряда вон выходящее. У женщины оба глаза — стеклянные. У мужчины — на левой стороне черепа — шрам от

лоботомии. Он говорит о больнице, лекарствах, галлюцинациях, но конкретные события тонут в разговорах о математических парадоксах, кино, литературе.

И все же иррациональное прорывается на поверхность: в квартире В. А. появляется странный парень. Он сидит на кухне, не шевелясь, осыпанный пылью, не ест и волосы у него не горят — проверено. При этом он «настолько настоящий, что настоящесть его распростираясь повсюду и разъедала дом». Ужасный уже одним своим существованием парень любим одиноким мужчиной как сын, которого не существует. Мальчик «будто вынут из головы» В. А. и напоминает гостей из «Соляриса», но в отличие от них — легко исчезает, В. А. ему не нужен. Он вообще никому не нужен. Безысходной нотой «никто так и не позвонил» первая часть заканчивается.

Вторая называется «Нижний Тагил» и в ней наиболее ярко выражены художественные особенности всего романа. Грань между реальностью и бездной здесь еще прозрачней. Фактический сюжет укладывается в несколько фраз: компания молодых людей приезжает в ночной Тагил по какому-то отдающему криминалом делу, на улице одну из героинь кусает за руку маленькая девочка, а на утро друзья один за другим переживают загадочные превращения.

События, необъяснимые для рассудка и отвратительные для глаз, удивляют героев не больше, чем Грегора его превращение в насекомое. Ужас гостями Нижнего Тагила, людьми самыми средними и явно не настроенными на самопознание, воспринимается как обыденность. Их одежда, автомобиль, манера говорить отсылают к образам «Реальных пацанов». Подобная компания описана в стихотворении Сальникова: «Как это обычно бывает, совсем без подруг, / Или с каким-то подобием общей жены / Молчаливые мужчины неподвижно стоят вокруг / Пивного ларька, и лица у них красны / Они киноактеры, но не помнишь, как их зовут / И не можешь припомнить хотя бы одну из ролей».

Но образы оказываются куда глубже и трагичнее сериальных штампов, когда ночь и таинственная сила города заставляют их заговорить о сокровенном. Размышления о Толстом и Достоевском, «Лолите» и «Мелком бесе» позволяют затрагивать серьезные нравственные проблемы, преломляя их через призму неблагополучия и жестокости нижнего Тагила. «Там местами читать даже противно, убавь ему охота, этому Гумберту, — делятся впечатлениями герои, — а потом он, бляха, как мужик поступает, берет и мочит этого козла, и по встрече едет, и ментов объезжает. И, блин, я читал,

и мне казалось, блин, что он в Тагиле, здесь на Лисью гору заезжает и смотрит на парк Бондина». Воспоминания о детстве — пионерских лагерях, киселе, заедающих пластинках Высоцкого — объединяют героев в некое миниатюрное подобие «потерянного поколения», которое откусило кусок от яркой фигуры за витриной, думая, что она сахарная, и осталось с привкусом пенопласта во рту.

Неизвестно зачем отправившаяся в сомнительную поездку «35-летняя девица» Клара, закончившая музыкальную школу по классу виолончели, в Нижнем Тагиле неожиданно понимает, что «дурью какой-то декадентской промаялась всю жизнь», ни семьи, ни детей. Именно она, наиболее тонко чувствующая из всей компании, первой переживает перерождение, и принимает его спокойно, даже радостно, в то время как других пугает реальность происходящего. Что именно случилось можно довольно точно описать, в очередной раз процитировав поэзию Сальникова: «Но тут рекламная пауза, все бегут на кухню и в туалет, / Возвращаясь, застают на экране только цветные пятна / Какие-то, кровь на снегу, чью-то фигуру, удаляющуюся в рассвет / Медленно-медленно, титры, и ни хуя не понятно».

Здесь мы вплотную подошли к самой, пожалуй, яркой особенности романа — его кинематографичности.

«Нижний Тагил» можно сравнить со сценарием, перегруженным образностью или очень подробным описанием уже просмотренного фильма. В жанровом отношении это, скорее всего, психологический триллер с его гнетущей атмосферой и постоянным нарастанием напряжения. С другой стороны, это кино документальное, которое, говоря словами Сальникова-поэта, «смахивает на взгляд сквозь жалюзи, на чтение между точек». Наряду с событиями, происходящими с главными героями, показаны страдания голодного оператора, слышны голоса зрителей, обсуждающих картину, а иногда и самого автора, пишущего роман. Вся эта разрозненная картинка вполне соответствует авторскому описанию ада и передает постмодернистское ощущение мира как калейдоскопа событий, в котором человек ищет и не находит точку опоры. Нижний Тагил — место «откуда нет выхода, но, к счастью, и входа нет».

В аннотации к книге Сальников назван благодарным потомком Франца Кафки, и не зря. Он не только продолжает традиции постмодерниста, через призму ирреального показывающего социальные проблемы, но и едва ли уступает своему предку в искусстве превращения текста в труднопроходимый лабиринт. Воображение его несчастного читателя вынужденно постоянно выставлять свет,

наводить ракурс, воспроизводить все новые декорации, зачастую еще не зная смысла всей сцены. Но именно сложная синтетическая форма «Нижне-

го Тагила» определяет его своеобразие. Литературное произведение, описывающее произведение кинематографа, с одной стороны, оказывается дважды вто-

рично по отношению к реальности, но с другой — с удвоенной силой к ней прорывается.

Кристина Суворова

Пространства времени

Екатерина Симонова. *Время*. Книга стихов. — Нью-Йорк: Стосвет, 2012



Книга эта красива и несвоевременна. Она — старинная диковинная шкатулка, драгоценная миниатюра; из породы вещей слишком древних, чтобы осмелиться называть их безделушками.

Несвоевременность бесполезна сама по себе, но сейчас речь о книге, опровергающей (или возводящей в иное измерение?) собственное название. Стихи Екатерины Симоновой не касаются ничего сегодняшнего, в них нет и тоски о прошлом, и мечты о будущем; и «всегда» — единственная их временная категория, и жанр — свидетельство о чуде, воплощенное в формуле: «Всё это (окружающее, нарушенное, недостаточное) — не всё». Есть большее, есть — ненарушимое и неуязвимое.

Все стихи Симоновой — такие свидетельства: очеловеченные, не утяжелённые гимнографическим ритуалом, литургическим произношением, которого, казалось бы, требует чудо. Пространству «Времени» — мифологическому до дна, насыщенному избыточной метафорикой средневековой миниатюры — изначально требуются стихотворения сложные, плотные, пугающе многослойные и многозначные; но сложность и плотность — качества текста, а не поэзии — Симонова отменила и упразднила, имея на это абсолютное право. Текст — прост, поэзия — не сложна (такое определение не годится ей), но цельна. Сложное — сложено и рискует рассыпаться на части; цельное — неделимо. Как поэт позволяет себе эту цельную простоту, или точнее — что ему позволяет её? Андрей Тавров в предисловии к «Времени» говорит: «дар достигнутой красоты». И правда; книга в первую очередь красива:

 снег громоздится за дверью,
 готовый съесть
 свет, чтобы, как кит,
 бороздить сотню лет
 все моря с лампадным огнем
 внутри,
 полупрозрачным, живым,
 но не страшись, смотри

 крылатый охотник подносит
 к губам лунный рог,
 глядя на дом с ласточкиной
 высоты

 яблочный иней хруст,
 взлетающий сокол,
 божьих небес пастбища
 и луга,
 плещущие отражённым
 светом разлитого молока,
 зимнего сна, завернутого,
 как в кокон,
 в тишину(...)

 терновые ягоды,
 схваченные морозом, всегда
 слаще.
 утром последняя звезда
 над горизонтом
 долго горит и мучительно
 бледнеет,
 пока волки глубже и глубже

*забираются в чащу —
ждать очередной ночи*

Пространства «Времени» — средневековые и сновидение, связанные поэтически. Механизм этой связи удивительно прост — и да, тоже красив. Средневековые Екатерины Симоновой — не книжное, не университетское, не герметичное. Оно условно, но это не обедняющая условность: так убивают лишние детали у картинки, чтобы вознести её от изображения к символу, на который станут откликаться безусловное, всеобщее, иррациональное, сновидческое. И даже в названиях частей книги средневековые, характерные «Часослов» и «Бестиарий» соседствуют с сюрреалистической «Софьей, глядящей в колодец и видящей на дне мёртвую звезду / голубя невинности».

В части же под названием «Приправы и правда» приём, каким создана вся книга, раскрыт бесхитростно. Нет ничего незначительного, ничего несостоящего, важно и цельно — всё. В общем контексте «Времени» — средневеково-сновидческом — куда как непросто удержаться от возведения кухни к алхимии, от добавления к повседневному месту и занятию лишнего, искусственного, оправдывающего смысла. Но у Екатерины Симоновой повседневность в оправдании не нуждается: это повседневность живого и цельного мира, не уязвлённая оппозицией вы-

сокого, нематериального, необычного. В пространстве «Времени» такой оппозиции ещё не существует.

Есть точка совершенного равновесия, с которой поэт глядит на собственный созданный мир; прочное место, из которого он заглядывает за двойное дно своей диковинной шкатулки.

*ты видишь странную
птицу,
чёрную с белой головой,
доктор чумы:
большой клюв, непонятный
взгляд.
свет ножницами срезает
с женщины,
стоящей позади,
всё лишнее*

Нехороша изнанка цветного витража; там чума вламывается в пасторальную летнюю зелень, там подстерегают чадающий факел, инквизитор и горгулья, и своевременным этому пространству было бы — обратит взгляд к ужасу. Взгляд и обращён, но он безмятежен — настолько, что безмятежность можно по неведению принять за безразличие. Это бесстрастность заклинателя: человека, обращающегося не к сознанию, но к воображению своего адресата, негромко властвующий императив: «посмотри», «послушай», «представь».

Стихи Екатерины Симоновой удивительно ровны эмоционально, почти повествовательны. Их вну-

тренняя энергия не мечется в тексте, не разрывает его изнутри, не уподобляется обезумевшему остроугольному маятнику: она ближе к мягкому раскачиванию колыбели или лодки. Но обманчивость этого равновесия — в масштабе. Так пропасть уравновешена — горой.

Пространства «Времени» избыточны: и онтологическая избыточность средневековья, и символическая избыточность сновидения — средства уравновесить пропасть, восполнить недостаточность, утолить то, чему и голод, и жажда — слабые и неполные синонимы. Опустошению обывательства противопоставить полноту жизни, тоске — чудо, вопросу — ответ.

Вопрос задан без индифферентности: «О, почему же смерть — здесь, а не там, / где садовник высаживает розы, / красные, белые, в теплый карман // весенней земли...».

«Там» — место, исполненное смысла, замысла, предназначения, самое сердце старинной шкатулки. И вся книга Екатерины Симоновой — попытка объединить «здесь» и «там», сделать из онтологических антонимов взаимопроникающие пространства. Сколько по ней рассыпано — «потому», «поэтому», «поскольку»; сколько утешения в ней — ту же безмятежность можно увидеть, если заглянуть в глаза очень старого врача или человека,

работающего с неизлечимыми больными.

«Здесь» — неизлечимо. «Там» — существует. «Там» — хранится неисчерпаемый запас жизни живой, к которому чаще всего обращаются в нехорошие време-

на. Обращаются неизменно: один поэт — посередине Европы, смятенной и едва не сметённой первой мировой войной, свидетельствует об ангеле, другая — на обломках собственной страны — произносит: «ступай, кан-

цона, как тебе велят, как в старину, когда ещё умели...».

В книгу эту — не вчитываться, ей — любоваться. Возлюбленную жизнь возвращая себе.

Екатерина Перченкова

Тонкая ниточка породной крови

Юрий Асланьян. *Дети победителей: Роман-расследование*. — Пермь: Пермский писатель, 2013. — (Антология пермской литературы; т. 3)



Действие книги пермского писателя Юрия Асланьяна происходит в лихие 90-е годы. Одно из самых страшных событий того времени — Первая чеченская война. Журналисту, главному герою романа, который носит имя автора, становится известно, что в городе нелегально появляется представитель генерала Дудаева. Он встречается с «чеченским авторитетом» в гостинице «Урал». С этого момента начинаются события книги, которые происходят в течение пяти лет. Это и война, и выборы в

Госдуму, и приезд в Пермь армянского поэта Сурена Григора, воевавшего в Нагорном Карабахе.

Конечно, читателю книги ни в коем случае нельзя забывать, что автор романа и герой, носящий его имя, — это разные люди. Здесь можно вспомнить прозу Сергея Довлатова, Варлама Шаламова и Венедикта Ерофеева, которые тоже использовали этот литературный прием. Правда, только очень уверенный в себе автор способен пойти на провокацию, создающую иллюзию абсолютной достоверности происходящего. При этом никто не отрицает внешних совпадений биографии автора и книжной реальности.

Историческая картина романа гораздо шире, чем лихие 90-е. Уже с первых страниц здесь появляются документальные материалы прессы и публицистической литературы, погружающие читателя в контексты многих эпох.

«Народы Дагестана признали власть царя, но только потому, что в горные районы русские не заглядывали. Как только началась попытка царской администрации навязать вольным обществам горцев российские законы и обычаи, стало быстро распространяться недовольство. Особенно возмущали горцев запреты на набеги, участие в строительстве крепостей, дорог, налоги, а также поддержка чиновниками местных феодалов... Журнал «Родина», 1994 год».

Эта историческая ретроспектива все время поднимает горизонт романа. Документальные свидетельства — публикации XIX века и конца XX столетия раздвигают границы познания истории страны. Встают трагические пласты национально-исторической реальности.

«Летом 1922 года частью Красной армии была проведена первая крупная операция по усмирению Чечни.

В марте 1925 года в операции по разоружению участвовал 6-тысячный отряд Красной армии с бомбардировкой и артиллерийскими обстрелами... «АиФ».

Пристальное внимание автора к конкретным деталям, историческим подробностям снимает надуманные стереотипы, далекий Кавказ становится более близким.

В романе несколько сюжетных линий и несколько идей, одна из которых — личная ответственность за то, что происходит в мире, где ты живешь.

Война. В романе она оживает в воспоминаниях ветеранов Великой Отечественной и молодых ребят, прошедших Чечню. Вроде бы она, война, давно прошла, все убитые похоронены, а без вести пропавшие забыты, но где-то рядом чувствуется ее приглушенный гул. Взрыв, еще — и время начинает кружиться быстрее, все переворачивается с ног на голову. Каждый должен успеть сделать свой выбор: быть таким, как раньше, или измениться. При этом надо успеть избежать мутации мозга и паралича сознания от главной канализационной трубы страны — телевизионных каналов. «Сам, только сам человек выбирает в этом мире дорогу, и никто другой. Человек не может достичь предела, но он способен принимать самостоятельные решения. В этом его абсолютная сила».

Главный герой романа — умный, свободолюбивый и

независимый, он воин, защитник. Он готов к войне и готов побеждать.

«Я молюсь, стоя на кухне, смотрю в темноту окна, курю и не вижу конца этой мистической войне с тараканами, соседями, ментами, с друзьями и коллегами, работодателями и лохотронщиками... я укладываю в черную сумку диктофон, телефон, фотоаппарат, записные книжки, авторучки, чай, шоколадку, сигареты и зажигалку. Мы еще посмотрим, кто кого».

Иногда кажется, что герой один. Но это кажется. Потому что в реальности есть обыкновенная память — и та самая, которая генетическая. Вспоминая детство, отца и мать, близких ему по духу людей, герой словно окунается в этот источник, набирая силу. Примером несгибаемой стойкости для героя был отец Иван Давидович Асланьян. Юный крымский партизан, в 1944 году он был репрессирован и выслан на север, в поселок под названием Лагерь. Незаслуженное обвинение, потеря близких, враждебное окружение — не сломили его. Упертый, трудолюбивый, с огромной жадой жизни — он выстоял, выучился, стал первоклассным шофером и охотником. Иван Давидович брал своего сына в рейсы, ездил с ним по деревням и городам, бродил по лесам и болотам, учил стрелять из ружья и водить машину. В кабине пел ему песни и читал стихи. В одной поездке отец и сын стали свидетеля-

ми аварии. Иван Давидович перегородил своей машиной единственную северную трассу, до приезда милиции, чтобы замерить следы. Дорога была забита машинами на километр. Ни уговоры, ни угрозы со стороны водителей не смогли сломить решение отца. Потому что сказанное им слово имеет вес, а обещание — реальную завершенность. Невероятно стойкий характер. В 50-х он был реабилитирован и награжден.

Да, «...много чего вспоминал... Воспоминания были постоянными, как просмотр лучших фильмов из личной коллекции. Лежал с закрытыми глазами и видел улицу деревни Невотино». Именно там, в санатории для туберкулезных детей двенадцатилетний мальчишка повстречал своего учителя, а точнее ангела-хранителя, который даровал ему дело всей его жизни. «И вот она входила в класс: белые туфли, белые чулки, белый халат, белокурые вьющиеся волосы, ясные голубые глаза. Уроки литературы Инессы Васильевны были похожи на таинства приобщения к вечности». Именно она спровоцировала рождение поэта и до сих пор ведет его по тонкой линии судьбы. А Михаил Иванович Соколов — главный врач санатория — гонял ребят по зимнему лесу, заставляя их активно дышать. Оказывается, морозный воздух, попадая в легкие, убивает туберкулезные палочки. Многим пацанам его практическая

методика даровала жизнь! Тонкой ниточкой культуры называет автор своих героев.

А главного героя романа коллеги прозвали «черным пиарщиком». «О, я понимал, что любой мой текст — это всего лишь катализатор времени. Конечно, я не делаю судьбу, но значительно ускоряю процесс личностной реализации. Поэтому меня прозвали черным пиарщиком».

Жизнь героя романа — сложный лабиринт города и времени. Профессиональный журналист, он верит в свое предназначение на Земле, в слово, в добро, живет воспоминаниями и большими надеждами на будущее. Надо только не заблудиться в переходах — катакомбах, где на пути встречаются «чеченский авторитет», коллекционер дорогих машин и красивых девушек, клоун, купленный столичными коммерсантами, боевая машина пехоты, тараканы и другие «членистоногие».

Страшная реальность 90-х, когда рухнула нравственная система координат. Он шел буквально на ощупь, как по минному полю, спотыкался, вставал, отслеживал десятки вариантов действий, подключал мозг, интуицию, трудолюбие и талант. Он сумел пережить предательство, преждевременную смерть друзей, боль солдат, вернувшихся из Чечни. Он смог, потому что он воин. Сложные переплетения жизни выводят героя на новый уровень, а роман переходит в роман-исследование. Что сегодня происходит с нравственным состоянием общества? Кому нужна война — это жестокое, кровавое и массовое жертвоприношение?

«Я знал, что в городах и деревнях этого мира живут миллиарды цивилизованных людей. Этим людям заботит качество собственной жизни, величина доходов, параметры жилой площади; марки автомобилей и шампуней волнуют их более, чем смерть

миллионов, подобных Богу. Когда комфорт становится дорожкой родины, тогда страна перестает существовать. Меньшинство должно уйти в небытие, чтобы большинство могло сидеть в ресторанах, казино и просто пивнушках».

Тон этой авторской речи действует отрезвляюще. Мертвому сознанию общества и тяжелой правде он противопоставляет культуру. «Я понимал: злобному мурлу противостоять может только реальная культура — тонкая ниточка породной крови, что тянется на свет из тьмы человеческих тысячелетий». Алчным и жестоким могут противостоять только благородные и честные.

Автор произведения настраивает наше сознание на музыку здравого смысла. Она звучит на протяжении всего романа. Это лучшая терапия, которая может быть предложена современнику, не говоря — потомку.

Надежда Иванова

Сквозь стекло

Руслан Комадей. Стекло — Челябинск: Издательская группа «Десять тысяч слов», 2012

Руслана Комадея я помню по подборке в третьем номере журнала «Гвидеон», помню ощущение от двух его строк, мелькнувших мимо глаз: вот, поэт. «Провожать свою смерть в Тагиле, / что ты, господибожемой». Неожиданное противоположное

«провождать»; «господибожемой» — цельнословное, беспробельное, беспросветное междометие. Почти год спустя, держа в руках книгу под названием «Стекло», я заранее знаю, что вся она такой не будет. Невозможно, не бывает таких книг.

Руслан Комадей на сегодняшний день — поэт, который именно в качестве поэта соперничает с самим собой — человеком видящим, слышащим, чувствующим, говорящим. Хороший слух и лёгкий голос. Всеми пятью чувствами так лёгок,



что собственного шестого за ними часто не различает. Всё на слух, любая связь между словами проверена звучанием, представление её в текстах порой чрезмерно, привычно — до автоматизма. «Недозекология эклоги», «"аве, Морзе". Мороз внутри», «ножницы и жнецы», «шуршанье швейных ниток морозящих», «у поднебесья свай / стой, а не вой», «под новокаином ватка», «я плавал по листам извилистой земли».

Сюда же относятся неологизмы и игровые номинации: «матемачеха в алгебре», «тет-а-тень», «ныряю в рыбеса».

Всё это несложное, потому что дарованное изначально. Красование отличника, школяра. Узорные костыли сочинителя. Но так, очарованно ремесленничая, можно нечаянно — и помимо себя, помимо целенаправленного сочинительства — выдать:

*Кипячёные тагильчане
опускают бумагу в чай.
И кричат по ночам:*

*«Начальник,
свет над нами не выключай!»*

Это большое. Это — история, география, социология, этнография, антропология, конкретного места и времени — в четырёх строчках; это топос и хронотоп — «Тагил» — именованный (ре-номинированный) посредством: 1) повествования / высказывания; 2) содержания, фонетического кода: шесть с половиной раз на четыре строки повторенный слог вызывает из словаря «чаяние» и «чаю» (Просят и хотят — простейшего. Чают — воскресения мертвых. Не меньше); 3) семантической рифмы, на которой держится всё стихотворение: «кричат» и «свет».

Это — нечаянно. Как будто в рулетку выиграл.

Что же нарочно? Прозрение и сквозное слышание неуловимы и неуправляемы, хуже того, для «слухача» — подсудны, подцензурны, едва ли не неприличны. Жить на слух — и при этом не быть языковым аккумулятором, собирающим в себе написанное всё и всеми — то же, что заткнуть уши. Или ходячему — отрезать себе ногу. Поэтому Руслан Комадей в стихах противоречив, амбивалентен: он «зеркалит», пробуя чужие голоса. Слышно: так (цитат без счёта) написал бы Евгений Туренко, так («Где сжатый голос, где огни, / где чушь несущая, как стены» — Арсений Тарковский), так («...Начальник, / свет над нами не выключай!» — может быть, молодой Денис Новиков). Одновременно с этим поэт не столько ищет собственный

голос, сколько проясняет облик себя-говорящего, пытаясь обрести то единственное лицо, от которого возможно прямое высказывание.

*Ходишь по леднику —
страшно как никогда.*

*И я иду ко дну. Я достигаю
дна.
И глиняный кулак мне
входит прямо в глотку.*

*Бог говорит, что тоже
хочет есть,
что был давно, но в голоде
Господнем
необходимо жажду
предпочесть.
(...)*

*...В отраженье
мне ближе тень: её не
украдут.*

*Я — телеграф травы, я —
фаза фонарей.
Не спрашивай меня, зачем
тебе глаза.*

Есть слабое место почти у любого поэта: переживание себя. Как поэта. Как человека. И слабейшее — переживание себя как факта современной литературы. Последнее со стороны всегда смешно и беспомощно. Так вот, Руслан Комадей переживает не себя в литературе, а окружающее пространство — языковое, речевое, поэтическое. Он внимателен. Внимание — явление той же природы, что счастье, горе или гнев: оно захватывает целиком, не остав-

ляя места ощущению (тем более самопрезентации): «я — такой». Если взглянуть, чем он захвачен...

Первое, что приходит в голову, — не то явление назвали новым эпосом. Сегодняшний «новый эпос» — проза, сложенная в столбик: повествование и высказывание частного лица. Эпос же как таковой — фундамент, фон (не живописный — радиационный) и аура, сияние и хор. «Я позабуду сказочный Свердловск / и школьный двор в районе Вторчермета» (Борис Рыжий) — эпос. Точнее, часть его. Часть явления и говорения коллективно, пересоздающего место и время. Для сегодняшнего человека эпос — потребность прото-смысловая (потребность четырнадцатилетнего Тарковского написать: «О, мать Ахайя! Пробудись, я твой лучник последний...»): голод не по смыслу, но по фону и ауре, которые будущий смысл только обещают или предвещают. Руслан Комадей, говорящий: «В лету-чем Тагиле, на целый Тагил / тайга голодранцев...», обращающийся то к древним грекам, то к Божественной комедии — этот голод знает.

Второе — ученичество. Как процесс длительный, запредельно осмысленный и трудный. Литературная школа — феномен двуликий: с одной стороны, это атмосфера и рамки — не ограничивающие, но направляющие. Нижнетагильская поэтическая школа, возникшая в 90-х годах, была скорее объедине-

нием, чем школой как таковой. Но именно для Руслана Комадея этот феномен оказался сконцентрирован вокруг индивидуальной поэтики Евгения Туренко. И большей из его задач было — перейти от подражания к преодолению центростремительной силы.

Всякому большому учителю такого ученика бы. В книге Комадея интенция — вне зависимости от порядка и компоновки стихов — больше, чем композиция. Взяв (и не просто взяв: усвоив) у Евгения Туренко нарочно несложный лексикон и паралогический синтаксис, Комадей внутри себя перерабатывает взятое и приходит — интуитивно, естественно — к единственно верному выводу: способ высказывания, перенятый как приём, недостаточен. Его мало воспроизвести, но требуется изобрести заново. Тройная оппозиция поэтики Туренко (хаотичность — логичность — преодоление логики) позволяет ему создать собственную подобную оппозицию: явление — название — иррациональное именование.

Иррациональность — категория заведомо поэтическая. Рациональные именованья суть метафоры и афоризмы; иррациональные — реномации — поэзия.

*Шли воды, целясь на восток,
цветы расслаивая в нити.
И птицы каркали в восторг,
дрожа в окне, как в неолите.*

*пока на полюсах
картофельного сада*

*то жимолость, то страх
(мне этого и надо)*

Есть в книге игровое и на первый взгляд необязательное стихотворение, оно и начинается необязательно, контекстно, сиюминутно: Гуф умер. «Гуф умер. Хлопчатое тело его / теперь запечатали в чёрствые доски». И дальше — «... он снился всем людям как ангел из пыли. На коже воды и построенных рек...», «Он умер и, смяв ледяную траву, / по небу расплылся закручивать руки. / И стало понятно, что он — наяву / встречается с телом на месте разлуки». Это стихотворение, пожалуй, больше всего свидетельствует о поэтической интенции Руслана Комадея: о голоде по иррациональному имени мира. Вот — в другом стихотворении — зафиксированное и высказанное открытие (...но в голоде Господнем / необходимо жажду предпочесть), что этот голод взаправду — жажда.

Отправной точкой поэтического высказывания Руслана Комадея часто оказывается актуальная тематика и актуальная семантика. Дальше начинается непостижимый процесс, который стоило бы назвать «осмыслением»: прибавлением смысла — к значению. Смысл — сам себе фокус, направленный взгляд, сводящая лучи линза. Может быть, поэтому — «Стекло».

Екатерина Перченкова

Кирилл Азерный родился в Свердловске в 1990 году. Учится в магистратуре филологического факультета Уральского федерального университета на специальности «Литература зарубежных стран». Рассказы и стихи публиковались в журналах «Урал», «Новая Литература», «Новая Реальность», альманахе «Золотой Пегас».

Анна Бердичевская родилась в Соликамске в одном из лагерей Гулага. Закончила мехмат Пермского университета. Печатала стихи и прозу в журналах «Литературная Грузия», «Континент», «Юность», «Новый мир», «Знамя», «Урал». Автор книг: «Тихий ангел», «Странствие», «Отзвук», «Чемодан Якубовой», «Масхара. Частные грузинские хроники». Член «Пен-клуба». Живет и работает в Москве.

Руслан Комадей родился в 1990 году на Камчатке, вырос в Челябинске и Нижнем Тагиле. Воспитанник литературной студии «Мирь» (руководитель Евгений Туренко). Учится в Уральском государственном университете на филологическом факультете. Выпустил две книги стихов. Публиковался в журналах «Воздух», «Урал», «Транзит-Урал», альманахе «Предчувствие света» (Нижний Тагил, 2007). Лауреат I регионального фестиваля литературных объединений «Глубина». Лонг-лист премии «Дебют» (2007, 2008, 2011) в номинации «Поэзия», шорт-лист премии «ЛитератураРентген» (2011). Живет в Екатеринбурге.

Владимир Кочнев родился в 1983 году в городе Чайковском (Пермский край). В 2000 году переехал в Пермь. Учился в ПГУ на филфаке. В 2004 поступил в Литературный институт имени Горького, творческий семинар Э. Балашова — А. Тиматкова. Публиковался в журнале «Арион», участвовал в Международном фестивале верлибра (2007). Публиковался в альманахах и журналах «Арион», «Урал», «Топос» и др.

Андрей Кудрин родился в 1973 году в Перми. Окончил исторический факультет Пермского государственного педагогического университета. Кандидат социологических наук. В 1998-2002 году штатно, до 2005 года внештатно работал преподавателем в ПГУ. Автор научных работ по социологии и истории. В настоящее время независимый исследователь. Сфера научных интересов: политология, социология, история партизанских выступлений в годы первой русской революции, история гражданской войны на Урале. Живет в Москве.

Роман Мамонтов родился в 1971 году в Перми. Окончил строительный факультет Пермского политехнического института. Был участником ансамбля «Музыка Народов Нагорья». Финалист всероссийского литературного конкурса памяти Ильи Тюриня. Публиковался в журналах «День и Ночь» (Красноярск), «Вещь», альманахах «Илья» (Москва) и «Литературная Пермь».

Кассиус Нокдаун родился в 1955 году. Окончил историко-политологический факультет Пермского государственного научно-исследовательского университета. Поэт, художник-примитивист, литератор. Участник арт-группы ОДЕКАЛ с 1994 года. Публиковался в районных газетах, рукописных и машинописных сборниках издательства ОДЕКАЛ, журнале ПАСТИШ. Живёт в Перми.

Мария Первушина родилась в 1991 году в с.Дебесы, республики Удмуртия. Учится на третьем курс электротехнического факультета Пермского национально-исследовательского политехнического университета. Публиковалась в сборнике участников конкурса «Проба пера» (2011, 2012) и альманахе «Шоколадный напиток» (2012). Живет и учится в Перми.

Александр Петрушкин (Александр Вронников) родился в 1972 году в Челябинске. Учредитель Литературно-художественного фонда «Антология». Инициатор издания журнала актуальной уральской литературы «Транзит-Урал». Издатель книжных серий «24 страницы современной классики», «V — Новая поэзия», «Антология РЕАльной Литературы». Организатор конкурса молодых литераторов «Стилисты Добра», фестиваля литературы Урала и Сибири «Новый транзит» и фестиваля нестоличной поэзии им. Виктора Толокнова. Куратор поэтического семинара «Северная зона», координатор евразийского журнального портала «Мегалит». Лауреат регионального фестиваля литературных объединений «Глубина» (2007). Шорт-лист литературного конкурса «Tamizdat», шорт-лист премии «ЛитератуРРентген» (Екатеринбург) в номинации «Фиксаж» (2005, 2006), лауреат премии «ЛитератуРРентген» (Екатеринбург) в номинации «Фиксаж» (2007), как лучший нестоличный издатель поэтических книг. Проживал в Озерске, Лесном, Екатеринбургe. С 2006 года живет в Кыштыме.

Марта Шарлай — критик, редактор. Родилась в 1980 году. Окончила Уральский государственный университет. Работает книжным редактором в Екатеринбурге. Как критик публиковалась в журналах «Вещь», «Урал» и литературно-художественном альманахе «Чаша круговая».

**Поддержка проекта была осуществлена
Министерством культуры, молодежной политики и
массовых коммуникаций Пермского края**

Вещь: Литературный журнал. — Пермь: Издательство «Сенатор», 2013. — 128 стр.

Редактор:
Павел Чечеткин

Выпускающий редактор:
Юрий Куроптев

Издатель:
Борис Эренбург

Дизайн обложки:
Иван Моисеенко

Верстка, дизайн:
Евгения Тесленко

Корректор:
Анна Лукьянова

Иллюстрации:
Михаил Павлюкевич (обложка, стр. 3, 9, 14, 28, 31, 44, 47, 95)
Кассиус Нокдаун (стр. 59-63)

Фото:
Юрий Меньшиков (стр. 66), Елена Сунцова (стр. 99)

Рукописи для публикации принимаются по электронному адресу: senator@permplanet.ru

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются. Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции. При перепечатке материалов ссылка на журнал «Вещь» обязательна.

Адрес редакции:
614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 21
Тел. (342) 212-32-17
e-mail: senator@permplanet.ru

- © «Вещь», 2013
- © Авторы, 2013
- © Издательство «Сенатор», 2013

